

НЕКРАСОВ И ТУРГЕНЕВ

I

История отношений Некрасова и Тургенева вписывает несколько драматических страниц в биографии обоих писателей. Близкие друзья в течение целого десятилетия (с конца 40-х по конец 50-х гг.), в 60-е годы они сделались непримиримыми врагами и оставались ими вплоть до последних дней жизни Некрасова, которого старший по возрасту Тургенев пережил шестью годами. Вопрос о причинах, обусловивших расхождение Тургенева и Некрасова, неоднократно привлекал внимание исследователей. Но, к сожалению, ответы, которые на него давались, обычно отличались крайними тенденциозностью и односторонностью. Классические примеры таких ответов содержат статья Н. Гутьяра в его книге о Тургеневе (Юрьев, 1907 г.) и соответствующие главы в огромной монографии о Тургеневе проф. Иванова (Нежин, 1914 г.).

Гутьяр не жалеет усилий, чтобы представить охлаждение, а затем и разрыв Тургенева с редактором-издателем "Современника" как следствие постепенного прояснения в глазах Тургенева истинных свойств личности глубоко-де безнравственного и порочного Некрасова. Когда Тургенев прозрел-де настолько, что перестал сотрудничать в "Современнике" и не дал Некрасову своей повести "Накануне", то Некрасов из мести воздвиг против Тургенева на страницах своего журнала целое гонение.

На подобную же, чисто личную точку зрения стал и другой биограф Тургенева проф. Иванов; однако он обратил свои громы уже не против Некрасова, а против Чернышевского. Чернышевский изображается им каким-то надутым ничтожеством, воплощенным невеждою как в вопросах эстетических, так и в философских. "С таким человеком предстояло ужиться Тургеневу в одном журнале" - ну, и, естественно, он не ужился. Если в течение некоторого времени он и мирился с создавшимся положением, то исключительно благодаря дружеским отношениям с Некрасовым. Но эти отношения подтачивались двумя одинаково ненавистными проф. Иванову людьми: на Некрасова старался повлиять Чернышевский - "простая змея", оказавшаяся ядовитее "очковой", т. е. Добролюбова; на Тургенева - Герцен, ненавидевший Некрасова и готовый даже "неправдой" восстанавливать против него Тургенева. Повлиять на Некрасова было, конечно, не так-то легко, но он "видел быстрый ход журнала и молчал не только за Тургенева, но и за себя". В результате пути прежних друзей разошлись навсегда, и "Чернышевский торжествовал".

На ряду с работами Гутьяра и Иванова мы могли бы назвать несколько печатных трудов, в которых вся вина за происшедший конфликт возлагается на Тургенева и отрицательные стороны его личности, каковыми-де являются непомерное самолюбие, болтливость, любовь к сплетням непростительно-небрежное отношение к деньгам и т. д. и т. п. Нам, однако, не хотелось бы утомлять внимание читателей передачей мнений этого рода, тем более, что в них, как и в мнениях, Н. Гутьяра и И. Иванова, невозможно усмотреть даже слабых признаков того, что мы называем научной объективностью. Допустимо ли, в самом деле, при нынешнем состоянии истории литературы, как науки, все сводить к воздействию личных факторов и чисто индивидуальных свойств, когда, как в данном случае, не только могут, но и должны быть выдвинуты на первый план причины общественно-психологического и даже классового характера? На этот путь автор настоящих строк и пытался вступить в своих статьях, касающихся отношений Некрасова к Тургеневу и людям сороковых годов вообще (см. "Голос Минувшего", 1916 г., NoNo 5, 6, 9 и 10). Тогда же им было отмечено, что расхождение между Некрасовым, с одной стороны, Тургеневым и его друзьями, с другой, прежде всего было вызвано тем, что Некрасов в сущности принадлежал к иному общественно-психологическому типу, чем Тургенев, Боткин, Дружинин, Фет и другие представители их поколения, являясь выразителем психоидеологии иного социального класса. Психологами неоднократно уже указывалось, что мысль - это де все в человеке, что она представляет собою лишь "малый разум" человека, как выразился Ницше, уступая в своем значении "большому разуму" или органическому восприятию, т. е. всей совокупности чувств, привычек и ассоциаций. Русский историк литературы Соловьев-Андреевич, один из первых представителей марксизма в данной области, усвоив эти взгляды, развивает их в следующих выражениях: "Под органическим восприятием, - пишет он, - следует (понимать именно Носега человека, со (всеми его заимствованными и не заимствованными идеями, привычками, предрассудками, коренными

симпатиями и антипатиями. Несомненно, что в каждом из нас есть это органическое восприятие, которое властно притягивает нас к известному роду идей и интересов и отталкивает от другого независимо от голоса логики, вне его и даже, - что не редкость,-- наперекор ему. Мы называем это безотчетными влечениями, подсознательным сознанием (*conscience inconsciente* Рибо), натурой и т. д. Но не только в каждом из нас есть это органическое, восприятие, оно есть у отдельных сословий и классов, общее в крупных (чертах целой однородной группе лиц. Это наследие жизни поколений, долгого исторического опыта, часто незаметных, но всегда могущественных влияний социальной среды".

Исходя из такого понимания органического восприятия, мы и утверждаем, что Тургенев и Некрасов отнюдь не могли иметь одинакового органического восприятия. Весьма знаменательно, что сам Некрасов превосходно сознавал это, что видно хотя бы из того, как он уже в период своего медленного и (мучительного) умирания в одной из бесед с Пыпиным (см. "Современник" 1913 г., No 1, стр. 233) определял разницу между собою и Тургеневым: "Я с барями хотел быть барин, хотя не был по природе барин; но я же мог подраться с кем попало в ресторане Лерхе,-- Тургенев бы повесился от этого. Он и к Белинскому поедет в белых перчатках, его тянуло к какой-нибудь аристократической барыне, а я бы не пошел туда"... Эти слова, думается нам, заслуживают самого пристального внимания, так как в них с необыкновенной отчетливостью указана вся суть того общественно-психологического различия, которое, поссорив Тургенева и Некрасова, прикрепило их к двум враждующим станам - стану "отцов" и стану "детей".

Тургенев с его органическим восприятием высоко-культурного, изысканного и утонченного барина-интеллигента всецело принадлежал к стану "отцов", хотя ему, как одному из лучших представителей своего поколения, как на редкость проникновенному художнику, давшему в своих произведениях образную историю русской общественной мысли чуть не за целое столетие (отец Лаврецкого, Гамлет Щигровского уезда, Лишний человек, Рудин, Фед. Ив. Лаврецкий, Инсаров, Базаров, Нежданов, Соломин), были ясны некоторые из отрицательных (сторон людей 40-х гг., хотя он и не проходил мимо тех темных и нередко зловонных закоулков, которых было немало в опозитизированных им "дворянских гнездах".

Другое дело Некрасов. Он не мог приобрести органического восприятия, свойственного вскормленному и вспоенному обломовщиной "человеку сороковых годов", уже потому, что социальная среда, которая его окружала и в детстве, и в отрочестве, и в юности, дала ему ряд (совершенно иных впечатлений, сроднивших его психику с психикой демократа-разночинца.

Детство Некрасова прошло в тягостной атмосфере отцовского деспотизма и угнетения при неизбежном, иногда подневольном участии в грубых забавах отца, делавших из его сыновей чуть ли не "дикарей". По крайней мере, это именно слово употреблено потом в одной из сравнительно недавно открытых строф элегии "Уныние", описывающей его детские годы:

Не зол, не крут, детей в суровой школе
Держал старик, растил как дикарей.
Мы жили с ним в лесу да в чистом поле,
Травя волков, стреляя глухарей.
В пятнадцать лет я был вполне воспитан,
Как требовал отцовский идеал:
Рука тверда, глаз верен, дух испытан,
Но грамоту весьма нетвердо знал.

Нет надобности распространяться, что при подобном воспитании опасность развития сибаритских наклонностей и барственных привычек в духе Ильи Ильича Обломова совершенно не угрожала Некрасову.

Отрочество Некрасов провел в бурсацкой обстановке ярославской гимназии, где главным средством воспитательного воздействия на детскую душу являлись физические наказания: "в классах секли... учителя дрались" (подлинные слова одного из сотоварищей Некрасова по гимназии - Горошкова). Соответственно с педагогическими методами, практиковавшимися в гимназии, средни, питомцев ее царили грубые нравы; их времяпрепровождение, особенно вне

стен школы, отличалось порядочной разнузданностью. О Некрасове и его брате известно, например, что они целыми часами практиковались в игре на бильярде под гостеприимной кровлей провинциального трактира.

Юность Некрасова, ознаменовавшаяся переездом в Петербург и отчаянной борьбой за существование, во время которой он на собственном опыте познакомился с ужасами продолжительного голодания, ставившего иногда самую жизнь его на карту, в свою очередь, не могла культивировать его органического восприятия в духе "утонченных" чувств и "эстетизма" с их неразрывными в ту эпоху спутниками - оторванностью от реальной жизни и неспособностью к практическому делу.

Тем не менее, когда со второй (половины 40-х гг. Некрасов сделался своим человеком в кружке писателей, типичных представителей 40-х гг., сначала группировавшихся вокруг Белинского, а затем ставших вместе с ним у кормила "Современника", он не мог не поддаться их влиянию. Влияние это имело и свою положительную и отрицательную сторону.

Положительная сторона определялась тем, что с помощью Белинского и его кружка Некрасову удалось приобрести как литературно-эстетическое развитие, так и определенное общественное и философское миросозерцание, которых ему так не доставало.

Отрицательная сторона явилась следствием того, что кружок Белинского, лишившийся в мае 1848 г. своего вождя и Вдохновителя, не уберегся от деморализации, охватившей русское общество после 1848 г., когда гнет правительственной реакции перешел все пределы, когда можно было с полной искренностью сказать: "благо Белинскому, умершему во-время". Деморализация эта привела к разнузданию чувственных влечений и барственно-сипаритских предрасположений, столь свойственных психике интеллигента 40-х гг., социальной почвой, возраставшей которого, все-таки было крепостное право, открывавшее возможность жить в свое удовольствие, пользуясь даровым трудом "трехсот Захаров", а то и неизмеримо большего числа их. Начался грустный период "чернокнижия" {Так называлось в то время среди постоянных сотрудников "Современника" сочинение юмористических фельетонов о мелочах быта, порнографических стихотворений, посланий, поэм. Самый термин был пущен в ход А. В. Дружининым, напечатавшим в 1850 году в "Современнике" свое "Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижника по петербургским дачам".} с его литературным гаерством, с дружескими сборищами, на которых поглощение огромного числа яств и напитков чередовалось с анекдотами, уснащенными "аттической солью" и картежным азартом. Некрасов, "ни в чем не знавший середины" ("Я ни в чем середины не знал" - вспомним это собственное признание (в "Рыцаре на час"), с головой бросился в омут этого времяпрепровождения. И все-таки органического восприятия, "свойственного настоящему барину, у него не могло создаться. Во-первых, потому, что в его душе свежи были еще переживания недавнего прошлого, "когда ему приходилось вести жизнь разночинца-пролетария, во-вторых, потому, что и в настоящем многое напоминало ему о громадной разнице между "им и чистыми представителями типа людей 40-х гг. Здесь, прежде всего, приходится указать на неустойчивость его бюджета, постоянно напоминавшую о возможных материальных лишениях. Хотя временами карточные выигрыши и значительно улучшали его материальное положение, но приобретенные ими деньги, как легко или случайно доставшиеся, легко и случайно расходились. Во всяком случае, в 40-х и начале 50-х гг. "единственной хотя и слабой и весьма непрочной, но единственной опорой существования" Некрасова, как он сам выражается в одном из писем к Тургеневу (от 15 сент. 1851 г.), был его журнал. Иначе говоря, он жил трудами рук своих. А для того, чтобы литератору, да еще литератору того времени, жить трудами рук своих, нужно было очень и очень много работать.

В наших статьях 1915 г. о редакторской деятельности Некрасова (см. "Голос Мин." 1815 г., NoNo 9, 10, 11) и в книге 1928 г. "Некрасов, как человек, журналист и поэт" приведены многочисленные иллюстрации того, как велико было количество выполняемой им, как редактором-издателем большого печатного органа, в это время работы. "Страшно некогда", "я в судорожных хлопотах" - вот обычные выражения писем Некрасова 40-х и первой половины 50-х гг.; они дают, между прочим, и понятие о характере лежавшего на его плечах дела. Оно требовало, по самому существу своему, сношений с массой людей, бесчисленного множества самых мелких забот с их неизбежными атрибутами - суетней и беготней, (вечно

напряженным и возбужденным состоянием духа. Это было сплошное кипение, тем более утомительное и выматывающую душу, что Некрасова никогда не оставляло сознание, что цензурные условия его времени создают у него под ногами подобие вулкана, извержение которого может последовать ежеминутно. Само собой разумеется, что при подобном характере своей деятельности редактор-издатель "Современника" мог не опасаться, что его внутренним существом овладеет обломовщина, лежащая в основе тогдашнего барства. А раз психика Некрасова оставалась свободной от влияния обломовщины, между ним и истинным баричем продолжала быть целая пропасть.

С другой стороны, Некрасову лишь в незначительной степени, был свойствен тот утонченный эстетизм, который был второю натурой типичных представителей 40-х гг. Хотя он, повидимому, и *принимал* участие в "дружеском ареопаге", подготавливавшем к печати стихотворения Фета, и вместе с другими лицами, его составлявшими (Тургенев, Дружинин, Анненков, Панаев), вел длинные дебаты на тему, возможно ли сохранить в тексте издания стихи: "На суку извилистом и чудном" или "На Краге ль по весне", однако сам, как поэт, продолжал идти своим особым путем. Его стихам, попрежнему, не было места "на столике всякой прелестной женщины" в том смысле, в каком употребил это выражение Тургенев в письме к Фету, так как в них с поразительной яркостью отражалась психология забороненного в большой город пролетария, чьи переживания и впечатления от окружающей его действительности менее всего носят на себе печать "изящного", по терминологии того времени. Если читатель возьмет на себя труд и перелистает стихи поэта за время с 1845 по 1855 гг., т. е. за целые десять лет, то он легко убедится, что среди них преобладают мотивы и темы, навеянные городом и жизнью в нем. Что можно возразить Соловьеву-Андреевичу, когда он доказывает, что в "Петербургских песнях" Некрасова впервые появляется столичный герой-пролетарий, нищий, на долю которого выпадают две жестокие борьбы: борьба за жизнь и борьба за славу, потому, что в том-то и заключается истинная особенность большого города, что обе эти борьбы идут рука об руку в нем... "Много песен посвятил Некрасов Петербургу. В них отчаяние нищеты, ужас одиночества, жалобы неудовлетворенного самолюбия, гнев и злоба на несправедливость жизни. Здесь ничего придуманного. Некрасов хотя и не долго, но все же был близок к голодной смерти. Однажды, когда его вышвырнули из квартиры, он нашел приют у нищих. Очевидно, столица создала уже материал для новых социальных чувств, приготовила для них почву. Пустая и холодная комната, близость к бездне нищеты порождает другие настроения, чем барская усадьба и "густолиственных кленов аллея".

Чтобы давать поэтический отклик на эти социальные чувства, да еще >в такой могучей, яркой форме, как это делал Некрасов, надо, конечно, иметь соответствующее органическое восприятие.

Мы не без намерения остановились на доказательствах того, что Некрасову в большей степени, были свойственны элементы психики интеллигента-разночинца, чем интеллигента-помещика, так как вопрос этот все еще не вполне прояснен в литературе о Некрасове. Зато нам представляется совершенно излишним доказывать, что Тургеневу было присуще именно органическое восприятие интеллигента-помещика, конечно, отнюдь не рядового, а одного из самых одаренных представителей данной социальной группы. Представляется ненужным потому, что доказывать это значило бы ломиться в давно открытые двери.

Все вышеизложенное преследовало лишь одну цель - установить, что Тургенев и Некрасов как индивидуальности, обладающие комплексом известных чувств, привычек, влечений и предрасположений, принадлежали к совершенно различным общественно-психологическим типам, вследствие чего их дружеские отношения, несмотря на вспыхивающие временами теплоту и задушевность, особенно прочным быть не могли. Пока среда, окружавшая Некрасова, почти сплошь состояла из людей 40-х гг., он волей-неволей старался войти в круг ее интересов и взглядов, хотя и не переставал чувствовать себя в ней инородным телом. Когда же в среду эту проникли, в лице Чернышевского, Добролюбова, затем Елисеева и Антоновича и многих других, разночинцы с их выносливостью и упорством в труде, с их умением преодолевать препятствия, энергией, самообладанием, крепостью и стойкостью в жизненной борьбе, то Некрасов не мог ее почувствовать себя гораздо ближе психологически им, "чем людям 40-х гг. При таких обстоятельствах его переход из стана "отцов", в стан "детей" являлся только вопросом времени. Для Тургенева же, кровью связанного с "отцами", такой переход,

конечно, был немислим и явился бы форменным ренегатством, на которое он, разумеется, не был способен.

II

От общих соображений, необходимых для достижения сути отношений Некрасова и Тургенева, обратимся к более детальной характеристике этих отношений, причем будем базироваться на письмах этих писателей, документальном материале, имеющем несомненные преимущества над материалом не-документальным, каковы, например, воспоминания.

Письма Некрасова к Тургеневу (см. книгу Пыпина о Некрасове) сохранились в количестве 61 номера. Писем же Тургенева к Некрасову было напечатано 24, не считая 7 записок без даты (из них 13 писем и 1 записка напечатаны в "Русской Мысли", 1903 г., No 11; 10 писем и 6 записок напечатаны нами в "Голосе Минувшего", 1916 г., No 5--6, и 1 письмо нами же в "Некрасовском Сборнике", СПб, 1918 г.).

Таким образом, если не считать записок, то писем Тургенева к Некрасову дошло, покамест, до нас несколько более $\frac{1}{3}$ общего количества писем Некрасова к Тургеневу.

Мы не имеем в виду подробно останавливаться на содержании писем Некрасова в виду того, что книга Пыпина, в которой они напечатаны, в достаточной степени известна, но несколько замечаний по поводу них считаем необходимым сделать.

Первое, что бросается в глаза при изучении этих писем, это разительная неравномерность при распределении их по годам. Почти половина писем (28 из 61) относится к 1856--1857 гг. Если, с одной стороны, здесь не осталось без влияния то обстоятельство, что Некрасов часть этого времени проводил за границей, а следовательно имел относительный досуг, который и мог использовать в целях переписки с приятелями, то, с другой стороны, очень вероятно, что именно в 1856--57 годы, когда уже наступили в русской общественной жизни события, породившие в недалеком будущем дифференциацию общества с ее неизменным спутником - партийностью, Некрасову особенно хотелось укрепить свои дружеские связи с Тургеневым и достигнуть с ним полного единомыслия в вопросах литературно-общественного порядка может быть потому, что он уже смутно предчувствовал, что различное к ним отношение сыграет впоследствии роль фермента разложения их долголетней дружбы. Однако об этом будет сказано ниже, а пока лишь отметим, что рассматриваемые письма изобилуют такими выражениями, которые с полной определенностью свидетельствуют о наличии между корреспондентами на редкость теплых и сердечных взаимоотношений.

Некрасов, прежде всего, любил в Тургеневе близкого и симпатичного ему человека. В соответствии с этим и его письма к нему пестрят изъявлениями самой горячей дружбы. Эти выражения делаются особенно частыми и по тону своему все более задушевными, чем ближе подходит время к середине 50-х гг. В письме Некрасова от 16 мая 1851 г. впервые прозвучало интимное "ты"; в письме от 17 ноября 1851 г. поэт говорит о своей любви к Тургеневу, желании иметь от него почаще известия и с нежностью вспоминает их старые отношения; в одном из июньских писем 1856 г. с трогательной деликатностью касается интимнейшего вопроса в жизни Тургенева - его скорбной, немало мук и терзаний приносившей любви к Виардо; в октябрьском письме того же года Некрасов "ужасно радуется в надежде пожить" с Тургеневым в Риме; в Письме от 30 февраля 1857 г. содержится настоящее любовное признание ("милый Тургенев, право, тебя очень люблю - в счастливые мои минуты особенно убеждаюсь в этом"); в письме того же года - прямо-таки необычайные по своей проникновенной нежности слова: "Будь весел, голубчик, глажу тебя по седой головке. Без тебя, брат, как-то хуже живется". Число подобных выдержек было бы возможно в несколько раз увеличить, но и приведенных достаточно, чтобы судить о том, как дорог был для Некрасова Тургенев, как человек. Даже в шуточную оду, посвященную Тургеневу >и написанную в 1854 г., со специальной целью посмеяться над его недостатками, Некрасов внес эмоционально-любовный тон. "Ода" кончается словами:

И в этом боязливом муже
Я все решительно люблю.
Люблю его характер слабый,

Когда, повесив длинный нос,
Причудливой, капризной бабой
Бранит холеру и понос.
И похвалу его большую
Всему, что ты ни напиши,
И эту голову седую
При молоджавости души.

Не менее теплоты и дружеской экспансивности проявлял Некрасов, когда ему приходилось говорить о Тургеневе, как о писателе. Уже первые рассказы из серии "Записок охотника" вызвали ряд очень сочувственных отзывов Некрасова (например: "мне эти ваши рассказы по сердцу пришлись" - или "рассказы ваши так хороши и такой производят эффект, что затеряться им в журнале не следует"). Высоко ставил Некрасов и литературные достоинства тургеневских пьес, которые только на нашей памяти дождалось общего признания. Так в письме от 12 сен. 1848 г. по поводу комедии "Где тонко, там и рвется" Некрасов писал Тургеневу: "Без преувеличения скажу вам, что вещицы более грациозной и художественной в нынешней русской литературе вряд ли отыскать". Очень нравились Некрасову также и комедии: "Завтрак у (предводителя)": и ("Холостяк" {О "Холостяке" Некрасов поместил даже особую статейку в No II "Современника" за 1847 г., (перепечатанную и вдумчиво комментированную Ю. Г. Оксманом в его книге "И. С. Тургенев. Исследования и материалы", Одесса, 1921 г.}. Как бы подводя итог своим суждениям о произведениях Тургенева, относящихся к концу 40-х гг., Некрасов утверждал, что, говоря о его последних трудах, "приходится только хвалить и дивиться -его успехам". Из отзывов первой половины 50-х гг. отметим похвалы Некрасова статье Тургенева об Аксакове {Статья Тургенева о "Записках ружейного охотника" напечатана была в No 1 "Современника" за 1853 г.} и заявление по поводу нападок В. Боткина и Н. Кетчера на недоконченный тургеневский роман, которого Некрасов тогда еще не читал, что он, только "лишившись здравого смысла", поверит, чтобы Тургенев "мог написать этой дряни". В 1855 году из уст Некрасова выливается уже целый дифирамб по адресу Тургенева. Некрасов прямо заявляет, что "из всех ныне действующих русских писателей" Тургенев "обязан сделать наиболее". Еще горячее отзывы последующего времени, среди которых нередко встретить даже преувеличения (напр., "ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе").

Искренно любя Тургенева как человека, очень высоко ставя его как писателя, Некрасов чрезвычайно ценил его, как сотрудника журнала. В критические минуты, а их было (немало в безвременье "мрачного семилетья", Некрасов буквально вызвал к Тургеневу ("явись спасителем "Современника"!) и, признавая его "радение" о "Современнике", утверждал, что пока он сотрудничает в журнале - "все... ничего", но уйди он - "то хоть закрывай лавочку".

Казалось бы, при таких отношениях Некрасова к Тургеневу дружба между ними должна была бы отличаться особою прочностью, тем более, что Тургенев платил Некрасову тою же монетою. В письмах Тургенева к нему мы постоянно встречаемся и с выражениями дружеской заботливости об его здоровье, и с настойчивыми приглашениями приехать к нему, и с (Просьбами писать почаще, и с благодарностями за присланные письма. Это еще внешняя, так сказать, сторона отношений. Внутренняя определяется интимнейшими признаниями, подобных которым Тургенев никому почти не желал, касавшимися отношений его к Виардо (напр., в письмах от 24--12 августа 1857 г., от 18--20 января 1858 г. и от 8 апреля нового стиля 1858 г.), и горячими изъявлениями любви и доверия, как, например, те, которые содержатся в письме из Куртавнеля (от 24--12 авг. 1857 г.), писанном под свежим впечатлением только что разъяснившегося денежного недоразумения: "я так же люблю тебя, как любил прежде... не сомневайся ибо мне, как я в тебе не сомневаюсь".

Что касается до отношения Тургенева к поэзии Некрасова, то в это (время оно не имело еще ничего общего с позднейшим, глубоко трогательным отношением (см. нашу статью о Некрасове в "Современнике" 1915 г., No 3). В 1847 г., извещая Белинского (Белинский. Переписка, т. III, стр. 385; письмо из Парижа от 26--14 ноября 1847 г.) о (получении NoNo "Современника", которые читаются им теперь с "волчьей жадностью", Тургенев обращается к нему со следующей просьбой: "Во-первых, скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке меня совершенно с ума свело; денно и ночью твержу я это удивительное

произведение и уже наизусть выучил". Отзыв Тургенева сделался известным Некрасову, и он в письме к Тургеневу, относящемся к декабрю 1847 г., делает о нем совершенно определенное упоминание: "Похвалы, которыми обременили вы мои последние стихи в письме к Белинскому..." и т. д. Несколько позднее, в письме к самому Некрасову от 18 ноября 1852 г. ("Русская Мысль" 1903 г., No 1) Тургенев так оценивает присланное ему поэтом новое стихотворение, предназначавшееся для No 1 "Современника" за 1853-г.: "Скажу тебе, Некрасов, что твои стихи хороши, хотя не встречается в них того энергичного, горького взрыва, которого невольно от тебя ожидаешь; притом, конец кажется как бы пришитым... Но первые 12 стихов отличны и напоминают пушкинскую фактуру".

Заметим кстати, что в первом случае речь идет о стих. "Еду ли ночью по улице темной", а во втором о стих. "Муза". Сравнение с Пушкиным, неизменно вызывавшем самое благоговейное отношение со стороны Тургенева,-- это, с его точки зрения, высшая степень одобрения, которую только может заслужить поэт.

О полном сочувствии Тургенева в эту пору стихам Некрасова могут также свидетельствовать нижеследующие слова из письма последнего от 17 ноября 1853 г.: "Я вспомнил наши давние литературные толки, ту охоту, с которою я прочитывал каждое мое новое стихотворение, и то внимание, с которым ты меня слушал. Давние времена!" Отсюда с полной ясностью вытекает, что внимательное и благожелательное отношение Тургенева к поэзии Некрасова проявлялось не только в единичных случаях, по поводу отдельных стихотворений, а носило, если можно так выразиться, постоянный характер. Недаром Некрасов чрезвычайно дорожил тургеньевскими отзывами, полагаясь на них больше, чем на чьи бы то ни было другие. Рассказав в письме от 7 декабря 1856 г. о своей усиленной работе над поэмою "Несчастные", свидетелем которой был Фет, Некрасов добавляет следующее: "Он мою вещь очень хвалит, но, кроме тебя, я никому не верю. Я - ты не откажешь мне в этом - дошел в отношении к тебе до той высоты любви и веры, что говаривал тебе самую задушевную мою правду о тебе. Заплати мне тем же". Ответ Тургенева, к сожалению, неизвестен, но из писем Некрасова от 18 и 30 дек. видно, что в нем заключалось, прежде всего, указание на цензурную невозможность напечатать поэму в ее настоящем виде, которое глубоко взволновало и огорчило Некрасова, (принужденного, вместо того чтобы послать поэму для напечатания в No 1 "Современника" за 1857 г., засесть за ее "порчу",-- а затем похвала ей ("спасибо за доброе мнение о Кроте" - писал Некрасов).

Итак, насколько можно судить по этим отзывам, в 50-х гг. Тургенев отнюдь не принадлежал к отрицателям некрасовской поэзии. Весьма знаменательно, что свое сочувственное отношение к ней он выражал не только в письмах, но однажды выразил и печатно. Мы имеем в виду нижеследующие его слова из рецензии о стихотворениях Тютчева ("Современник", 1854 г., т. 14): "Легко указать на те отдельные качества, которыми превосходят его (Тютчева) более даровитые из теперешних наших поэтов: на пленительную, хотя несколько однообразную грацию Фета, на энергическую, часто сухую, жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одном только г. Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он относится и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине..." и т. д.

Отсюда следует, что Некрасов являлся для Тургенева одним из "более даровитых" современных поэтов с стоял на одной доске с высоко ценимыми им Фетом и Майковым.

Далее из писем Тургенева видно, почему Некрасов так благодарил его за "радение" о "Современнике". Тургенев не только приносил ему пользу усердным сотрудничеством, но и (принимал, до некоторой степени, участие в ведении журнала. Мы говорим, "до некоторой степени", так как участие Тургенева не было активным {Анненков в своих "Литературных воспоминаниях" рисует несколько иную картину. "Тургенев, - говорит он, - был душой всего плана, устройтеlem его, за исключением, разумеется, личных особенностей, введенных в него будущими издателями, с которыми делил покамест все перипетии предприятия. Некрасов совещается с ним каждодневно; журнал наполнился его трудами". Однако свидетельство Анненкова относится только к очень ограниченному периоду времени, самому концу 1846 г., когда подготовлялся выпуск No 1 "Современника" новой редакции, а потому и не противоречит нашей точке зрения.}; оно выражалось главным образом, в подробных отзывах о содержании

того или другого номера журнала (напр., в письмах от 18 ноября 1852 г. и от 16 декабря того же года), а также в составлении и обсуждении планов относительно желаемых в журнале "усовершенствований" ("в письме от 22 ноября 1857 г.).

Само собой разумеется, что подобные отношения в сфере совместной журнальной деятельности обоих писателей могли иметь место только при условии значительной близости их литературных мнений, симпатий и антипатий. Что такая близость, особенно в первой половине 50-х гг., существовала, тому можно привести многочисленные примеры. Вот несколько наиболее разительных из них. Достаточно было Некрасову отозваться об авторе "Детства" как о таланте "надежном", как Тургенев спешит выразить с ним свое полное согласие (в письме от 28 окт. 1852 г.); далее отзыв Некрасова о второй части романа Писемского "Батманов" вызвал почти аналогичную оценку его Тургеневым (28 окт. 1852 г.): "2 часть "Батманова"... поразила меня своею грубостью... После этой повести, не знаю почему, он мне иначе не представляется, как литературным городовым, разрешающим все вопросы жизни и сердца палкой!" - писал Некрасов. "2-я часть "Батманова" из рук вон плоха. Ну, этот Писемский! Может он начать гладью, а кончить гадью"... - вторил ему Тургенев. С другой стороны, достаточно было Тургеневу выразить свое возмущение Щербиной за "исполненную претензий дерзость", тиснутую им в "Москвитяине" (28 октября 1852 г.), как Некрасов заявляет о своей полной солидарности с его взглядом. Конечно, иной раз литературные мнения писателей расходились, но в общем во взглядах их на современную литературу до выступления на журнальную арену Чернышевского господствовало единомыслие.

Те выводы и заключения, которые только что были сделаны на основании переписки Тургенева и Некрасова, опубликованной Пыпиным в "Русской Мысли", всецело подтверждаются анализом писем Тургенева, напечатанным нами в "Голосе Минувшего". Не лишнее будет сделать на них несколько ссылок, свидетельствующих, что некоторые из основных мотивов содержания ранее напечатанных писем Тургенева выражаются в них ярче и определеннее. Так дружеские чувства Тургенева к Некрасову проявляются здесь с несравненно большей экспансивностью: "Смертельно желаю увидеть" (в письме от 16 окт. 1853 г.); повторные приглашения приехать (от 29 апр. и 21 мая 1855 г.); повторные же опасения, что Некрасов в ярославском одиночестве "заскучает и расхандрится" (там же); трогательные в своем постоянстве и неизменности заботы о здоровье Некрасова (особенно в письме от 10 июля 1855 г.); упорные советы писать биографию ("твоя жизнь именно из тех, которая, отложив всякое самолюбие в сторону, должна быть рассказана - потому, что представляет так "много такого, чему не одна русская душа глубоко отзовется" - в письме от 10 июля 1855 г.); "написать свою биографию твой долг" (в письме от 25 мая 1856 г.);-- вот несколько взятых наудачу примеров выражения этих чувств.

Весьма знаменательно также, что Тургенев, этот будущий беспощадный отрицатель поэзии Некрасова, теперь не скупился на восторженнейшие ей похвалы. Заявления: "Стихи твои "К***" просто пушкински хороши - я их тотчас на память выучил. Сделай одолжение, присылай мне твой рассказ в стихах {Стихи "К***" - так было озаглавлено стихотворение Некрасова "Давно отвергнутый тобою", посланное им Тургеневу в письме от 30 июня 1855 г. Рассказ в стихах есть не что иное, как упоминаемая >в том же письме поэма Некрасова "Саша"}. - уверен, что в нем есть чудесные вещи (в письме от 10 июля 1855 г.); в Москве твои последние стихи (особенно "Муза") произвели глубокое впечатление. Даже Хомяков признал тебя поэтом. Какого же тебе лаврового венка!" (от 25 мая 1856 г.) - говорят сами за себя и ни в каких комментариях не нуждаются. Что они были сделаны не под влиянием случайного настроения, об этом позволяет судить та настойчивость, с которой Тургенев напоминал Некрасову о необходимости издать собрание его стихов возможно скорее (в письме от 29 апр. и 2 сент. 1855 г.), и та радость, которую юн обнаружил при известии о пропуске "всех вещей" Некрасова цензурою (от 4 июня 1856 г.). Нельзя не отметить также, как внимательно отнесся Тургенев к просьбе Некрасова перевести для него несколько пьес Бернса и ознакомить его с размером подлинника, просьбы, вызванной желанием поэта "переложить" Бернса в стихи" (от 10 июля 1855 г.).

Если, таким образом, Тургенев *стремился* быть полезным Некрасову, облегчая выполнение его литературных замыслов, то, с другой стороны, он и сам искал иной раз у него поддержки. Так на получении от Некрасова письма, в котором он убеждал Тургенева не

полагаться на огульно отрицательные отзывы Кетчера и Боткина об его романе, Тургенев выражает в "своем ответе (от 16 окт. 1853 г.) досаду, что не распорядился прислать первую часть своего произведения именно ему и Панаеву. Сравнительно бодрая оценка своего труда ("что-то мне говорит, что (роман не совсем так плох, как он им показался)") явилась, вероятно, следствием похвал, содержащихся в некрасовском письме. Еще явственнее поддержка Некрасова сказалась несколькими месяцами позднее. Услышав, что Тургенев находится в моменте "распадения" и считает свое писательское поприще окончанным, а себя выдохшимся, Некрасов поспешил заявить своему другу, что он "из всех "ныне действующих русских писателей обязан сделать наиболее"... Это лестное для самолюбия Тургенева суждение осталось не безрезультатным. В своем ответе (10 июля 1855 г.) он благодарит за его "одобрительное увещание" и обещает напрячь последние силы хотя бы для того, чтобы оправдать хорошее мнение приятелей".

Подобные отношения между писателями, естественно, привели к тому, что между ними установилось полнейшее доверие, которое внушило Тургеневу, например, эти слова: "Ты можешь комедийку мою пихнуть, Куда хочешь - это совершенно от тебя зависит" (в письме от 4 июня 1856 г.). Самое дорогое, что есть у писателя, это его произведения, и раз он право распоряжаться ими передает своему приятелю, то, очевидно, он ему вполне доверяет.

III

Теперь, когда наличность близких дружеских отношений между Некрасовым и Тургеневым подтверждена столькими фактическими ссылками, перейдем к указаниям на те, покамест, т. -е. в середине 50-х гг., легкие облачка, которым с течением времени суждено было разрастись с грозovou тучу и вызвать бурю, навсегда оборвавшую нити приятни и взаимного уважения, крепко связывавшие Тургенева и Некрасова. Таким облачком нельзя, прежде "всего, не счесть сначала не слишком резкого, но впоследствии очень усилившегося расхождения в вопросе об отношении к личности и идеям Чернышевского, который начал сотрудничать в "Современнике" с конца 1853 - начала 1854 гг. и к 1855 г. завоевал себе в редакции его очень видное и влиятельное положение. Уже в письме от 10 июля 1855 г. Тургенев, характеризуя Дружинина как "отличного человека", а его статью в "Библиотеке для чтения" об аннанковском издании Пушкина как "прекрасную", говорит о книге Чернышевского как о "мертвечине", проникнутой "враждой к искусству, которая везде скверна, а у нас и подавно". В тот же день (т. е. 10 июля) Тургенев пишет послание к Дружинину и Григоровичу (см. первое собрание писем И. С. Тургенева, стр. 12--14), в котором похвалы Дружинина за статью о Пушкине еще восторженнее, а нападки на Чернышевского еще *горячее*. Обращаясь к Григоровичу, Тургенев говорит здесь: "Je fais amende honorable... Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами [за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) - примите мое раскаяние и клятву - отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами... Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую "Современник" не устыдился разбирать серьезно... Raca! Raca! Raca! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете".

Столь ярый гнев Тургенева против Чернышевского был вызван, как уже догадался читатель, его знаменитой диссертацией "Эстетическое отношение искусства к действительности", вышедшей в свет летом 1855 г. Само собой разумеется, что Тургенев, Эстетические воззрения которого были внушены гегелевским идеализмом, не мог сочувствовать эстетической теории Чернышевского. Не забудем, что Чернышевский в своей диссертации, опираясь на материализм Фейербаха, доказывал, что "прекрасное в действительности всегда выше прекрасного в искусстве", что оно "или совсем не имеет недостатков, находимых в нем идеалистами, или же имеет их в слабой степени" (см. книгу Плеханова о Чернышевском и его статью о нем в "Ист. русск. литер." из-ва т-ва "Мир", т. III), причем от таких недостатков не только не свободны произведения искусства, но они повторяют их в гораздо больших размерах. Следовательно, искусство никоим образом "не могло иметь своим источником стремление освободить прекрасное от недостатков, будто бы присущих ему в действительности и будто бы мешающих людям наслаждаться им", истинная цель искусства должна состоять не в исправлении, а в воспроизведении прекрасного, существующего в действительности. Если бы Тургенев дал себе труд поглубже вникнуть в "эту поганую мертвечину", то он должен был бы признать, что основной вывод "отвратительной книги"

Чернышевского находится в полном соответствии с эстетическими взглядами Белинского в последние годы его жизни. Нельзя не согласиться в данном случае с Плехановым, который, характеризуя эстетическую теорию Чернышевского - пишет: "Взгляд на эстетику, как на орудие реабилитации действительности, сблизил Чернышевского с Белинским, который к концу своей жизни тоже пришел к философии Фейербаха и тоже ставил перед литературой задачу точного изображения жизни (особенно в двух своих последних обзорах русской литературы). Подобно Чернышевскому, Белинский в последний период своей деятельности отрицал теорию искусства для искусства и весьма сочувственно относился к тем художникам, принадлежавшим к так называвшейся тогда натуральной школе, которые не отказывались произносить свой "приговор" над явлениями действительности и произведения которых могли служить "учебником жизни". Вообще Чернышевский был в нашей литературе лишь наиболее законченным представителем того типа просветителей, родоначальником которого в значительной степени являлся: в последние годы своей деятельности Белинский".

Все это просмотрел Тургенев и, негодуя на автора "Эстетических отношений", рассердился и на "Современник", который не только не "отделал" Чернышевского, но "не устыдился разбирать серьезно" его книгу. Этот разбор (см. "Современник" 1855 г., No 6), подписанный инициалами Н. П. и принадлежавший перу самого Николая Гавриловича, сухой и очень сдержанный по тону, развивал и подчеркивал основную точку зрения "Эстетических отношений". Неудивительно, что он так не понравился Тургеневу, который, надо думать, охотно присоединился бы к следующей оценке и книги Чернышевского и современниковской рецензии на нее: "во всей изложенной теории нет ничего... кроме нелепости вывода". Таково было мнение "Библиотеки для чтения" (1855 г., No 8), только что поместившей статьи Дружинина об анненковом издании Пушкина столь восхитившие Тургенева.

В этих статьях содержалось, между прочим, зерно другого расхождения между "Современником" и некоторыми из прежних участников кружка Белинского. Статьи Дружинина - не только критические, но и полемические, причем острие их полемики направлено против современного направления русской литературы, чересчур, по мнению Дружинина, поддавшейся гоголевскому влиянию и уклонившейся от заветов Пушкина. Признавая, что "наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением", явившимся, как результат "неумеренного подражания Гоголю", Дружинин призывал к открытому противодействию "гоголевскому направлению". Весьма любопытен тургеньевский отзыв {Впервые вопрос об отношении Тургенева, Толстого и Некрасова к дружининскому направлению рассмотрен был нами в статье "Некрасов и люди 40-х годов" ("Голос Минувшего" 1916 г., No 5--6). За последнее время этого вопроса коснулся и Б. Эйхенбаум в своей книге "Лев Толстой", 1928 г. (стр. 190--193 и 225--228), причем его выводы в основном совпали с нашими.} о статьях Дружинина, приводимый Боткиным в его письме к Дружинину от 27 июля 1855 г., (см. сборник "XXV лет", стр. 481--482). Я прочел их,-- писал Тургенев Боткину,-- с великим наслаждением. Благородно, тепло, дельно и верно. Но в отношении к Гоголю Дружинин не прав. То есть в том, что он говорит, Др. совершенно прав, но так как Др. всего сказать не может, то и правда выходит кривдой. Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством - и есть интересы выше поэтических интересов. Момент самопознания и критики также необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица. А все-таки статья славная, и когда ты будешь писать Др-ну, передай ему мое искреннее спасибо. Многое из того, что он говорит, нужно нынешним литераторам мотать себе на ус - и я первый знаю - ou le soulier de Gogol blesse. Ведь это на меня Др. сослался {Ссылка эта такова: "Один из современных литераторов, - писал Дружинин в своей статье, - выразился очень хорошо, говоря о сущности дарования Александра Сергеевича: "Если б Пушкин прожил до нашего времени, - выразился он, - его творения составили бы противодействие гоголевскому направлению, которое в некоторых отношениях нуждается в таком противодействии".}, говоря об одном литераторе, который желал бы противодействия гоголевскому направлению; все это так, но о Пушкине Др. говорит с любовью, а Гоголю отдает только справедливость, что в сущности никогда не бывает справедливо". Итак, хотя правда Дружинина - не полная правда, однако Тургенев все же остается на точке зрения признания необходимости противодействовать гоголевскому направлению. Соответственно этому в письме Тургенева к самому Дружинину от 10 июля 1855 г. ("Первое собрание писем Тургенева", стр. 13) похвалы его статьям решительно не обладают, о некотором несогласии же с взглядом Дружинина на Гоголя брошено лишь одно мимолетное замечание ("насчет Гоголя - вы знаете - я не совсем согласен с вами"). Годом позднее, в письме от 30 октября 1856 г. Тургенев напомнил Дружинину

о том, что он, будучи поклонником Гоголя, толковал ему "когда-то о необходимости возвращения пушкинского элемента в противовесие гоголевскому".

Иную позицию занимал, конечно, в данном вопросе "Современник". Не желая очевидно, ввязываться в полемику с одним из обоих сотрудников (Дружинин в это время еще не прекратил сотрудничества в "Современнике"), он ограничился в "Заметках о журналах" несколькими очень лестными замечаниями о статьях Дружинина, которые, действительно, в своей главной части, относящейся к Пушкину, не были лишены серьезных достоинств. Зато в скором времени "Современник" начал печатание "Очерков гоголевского периода", которые развивали совершенно противоположный дружининскому взгляд на гоголевское направление. Чтобы напомнить его, приведем несколько строк из "Очерков": "Гоголевское направление остается до сих пор в нашей литературе единственным сильным и плодотворным. Если и можно припомнить несколько сносных, даже два или три прекрасных произведения, которые не были проникнуты идеею, сродною идее гоголевских созданий, то, несмотря на свои художественные достоинства, они остались без влияния на публику, почти без значения и в истории литературы... Мы осмелимся сказать, что самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, превозносящие до небес каждое его произведение, каждую его строку, не сочувствуют так живо его произведениям, как сочувствуем мы, не приписывают его деятельности столь громадного значения в русской литературе, как приписываем мы. Мы называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по значению... Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России... Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и глава школы - единственной школы, которою может гордиться русская литература,-- потому что ни Грибоедов, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов не имели учеников, которых имена были бы важны для истории русской литературы. Мы должны убедиться, что вся наша литература, насколько она образовалась под влиянием не чужеземных описателей, примыкает к Гоголю, и только тогда представится нам в полном размере все его значение для русской литературы".

Было бы излишним доказывать, насколько близки между собою взгляды на Гоголя Чернышевского и Белинского. Этот последний в своем, можно сказать, предсмертном литературном обозрении 1847 г. проводил мысли, под которыми, конечно, Чернышевский не задумался бы подписаться. "Литература наша,-- читаем мы здесь,-- постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет мысль и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя. Этим он совершенно изменил взгляд на искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкой, приложить старое и новое определение поэзии, как "украшенной природы"; но по отношению к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним. идет другое определение искусства, как воспроизведения действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор ставит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением".

"Очерки гоголевского периода", этот восторженный дифирамб и Гоголю и его истолкователю Белинскому, слишком известное произведение, значение которого в достаточной мере выяснено историками нашей литературы, а потому, не останавливаясь более на его содержании, отметим только, что Дружинин не счел возможным оставить их без ответа. Таким "ответом его и явилась статья "Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения" (в "Библиотеке для чтения" 1856 г., NoNo 11 и 12). Здесь он отстаивал деление "всех критических систем, тезисов и воззрений" на "две, вечно одна другой противодействующие теории" - "артистическую, т. е. имеющую лозунгом чистое искусство для искусства, и дидактическую, т. е. стремящуюся действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его поучение. Все (свои симпатии Дружинин, само собой разумеется, отдавал первой, утверждая, что как только русская критика гоголевского периода,

т- е. Белинский, "усвоила себе дидактическую сентиментальность представителей новой французской словестности, ее влияние, произносим это с горестью, начало видимо клониться к упадку" (там же, No 12, отд. III, стр. 45--46). В этих словах, конечно, нельзя не видеть вполне сознательного разрыва с заветами Белинского, по крайней мере, того Белинского, каким он был в последний период своей деятельности... Не входя в дальнейшие подробности этого спора, перейдем к выяснению того, как относился к нему Некрасов.. В своей статье "Заметки о журналах за июль м-ц 1855 г." ("Совр." No 8), придерживаясь "взгляда на литературу, как на самый могущественный проводник в общество идей образованности, посвящения, благородных чувств и понятий", т. е. именно того взгляда, который Дружинин называл "дидактическим", Некрасов утверждал, что "нет науки для науки, нет искусства для искусства, - все они существуют для общества, для облагораживания, для возвышения человека, для его обогащения знанием и материальными удобствами жизни". По существу же спора он высказался в письме к Тургеневу от 30 декабря 1856 г., причем- поводом послужило сделавшееся ему известным намерение Толстого перейти в дружининскую "Библиотеку для чтения", отказавшись от исключительного, вместе с Тургеневым, Островским и Григоровичем, сотрудничества в "Современнике", условие с которым он, повидимому, уже подписал. Соответствующая страница письма напечатана А. Н. Пыпиным с большими и очень существенными сокращениями; мы приводим ее почти без этих последних:

"За наступающий год,-- писал Некрасов,-- обсуждая положение "Современника" к началу 1857 г., нельзя опасаться --покуда есть в виду и в руках хорошие материалы, а что до подписки, то она будет непременно хороша, но жаль, если союз пойдет в разлад {Речь идет о заключенном в 1856 году условия, по которому Л. Толстой, Тургенев, Григорович и Островский становились пайщиками "Современника", но зато обязывались сотрудничать исключительно в этом журнале. Союз действительно оказался непрочным. "Обязательные сотрудники", будучи обеспечены получением дивиденда независимо от степени их участия, перестали заботиться о напечатании своих произведений и почти ничего не присылали в редакцию. В виду этого в начале 1858 года договор был расторгнут.}. Что сказать о Толстом, право не знаю. Прежде всего он самолюбив и неспособен иметь убеждение - упрямство не замена самостоятельности; потом, конечно, ему еще хочется играть роль повыше своей; Панаева он не любит и, как этот господин хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение, он верно теперь не любит еще более. При нынешних обстоятельствах, естественно, литературное движение сгруппировалось около Дружинина, в этом и разгадка. А что до направления, то тут он мало понимает толку. Какого нового направления он хочет? Есть ли другое - живое и честное - кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, и совсем не потому, что "Современник" в лице Чернышевского будто бы подражает Белинскому. Иное дело, может быть Чернышевский недостаточно хорошо "ведет дело, так дайте нам человека или пишите сами. Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение -к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит каждый честный человек в России. А с чего приплетены тут денежные соображения? После этого я вправе сказать, что Толстой переходит на сторону Дружинина, чтобы скорее попасть в капиталы {Хотя это слово и было прочтено по рукописи Б. Эйхенбаумом, как "капитаны" (см. его книгу "Лев Толстой. 50-е годы". Лнгр. 1928, стр. 531), мы все же останемся при том мнении, что его следует читать именно так, как оно приводится здесь. Сходство в начертании буквы "л" с "н" (как это имеет место и в данном случае) в рукописях Некрасова встречается довольно часто, между тем выражение попасть в капиталы" несомненно более подходит здесь по смыслу в связи с предшествующими словами о "денежных соображениях"}. И последнее правдоподобнее. Не знаю, как будет кушать публика г..... со сливками, называемое дружининским направлением, но смрад от этого блюда ударит и скоро отгонит от журнала все живое в нарождающемся поколении, а без этих сподвижников, еще готовящихся, журналу нет прочности. Одна к овсе это ясно для нас, но не для Толстого. Чем его удержать? Не удержит ли его покуда то, что он, при обстоятельствах, доныне неизменившихся, подписал наши условия. Заставить журнал дать ложное обещание публично - поступок нехороший. Думаю на днях написать к нему".

Несмотря на значительную дозу личного элемента, все же совершенно несомненно, что цитированные строки имеют и большое принципиальное значение, уясняющее сущность разногласия между Тургеневым и Некрасовым. В то время как первый считал необходимым противодействие гоголевскому влиянию и чрезвычайно высоко ставил Дружинина, хотя и не во

всем с ним соглашался, второй утверждал, что иного направления, кроме "обличения и протеста", т. е. именно гоголевского, потому что Гоголь, а не кто другой, был провозвестником "обличения и протеста", нет и быть не может; свое же отношение к направлению, отстаиваемому Дружининым, которое упиралось в "артистическую теорию" искусства для искусства, определял словами "г.... со сливками", неимоверная грубость которых указывает на силу негодования, возбуждаемого в нем этим направлением.

Как ни велико отмеченное здесь расхождение во взглядах двух писателей-друзей, не одно оно лежит в основе постепенного охлаждения в их отношениях, хотя ему, мы убеждены, принадлежит значительная роль. Не могла остаться без влияния и отмененная выше полная дисгармония в чувствах, возбуждаемых Чернышевским и как писателем и как человеком. Как относился к Чернышевскому Тургенев, мы видели; правда, через некоторое время в письме к Дружинину от 30 октября 1856 г. ("Первое собрание писем Тургенева", стр. 25--26) он пытается взять иной, более беспристрастный тон в отношении него; досадуя на Чернышевского за его сухость и черствый вкус, за его нецеремонное обращение с живыми людьми, утверждая, что он плохо понимает поэзию, Тургенев, в противоречие с своим собственным недавним отзывом, не находит в нем мертвечины и готов признать его даже полезным. Однако этот отзыв о Ник. Гавр, нельзя считать характерным. Через какой-нибудь месяц после этого письма к Дружинину Тургенев в письме к Л. Н. Толстому от 8 декабря 1856 г. (ibid, стр. 33), говоря о "Современнике", доверенном Некрасовым на время его пребывания за границей Чернышевскому, пишет: "что "Современник" в плохих руках - это несомненно".

В воспоминаниях целого ряда современников сохранились совершенно определенные указания на то, что Тургенев не скрывал, по крайней мере, в беседах с приятелями своего крайнего нерасположения к "семинаристам". Панаева, например, передает целую речь Тургенева, обращенную к ее мужу, в которой он с презрением отзывался о "литературных Робеспьерах", выросших "на постном масле" и стремящихся "с нахальством стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы" (367--368). Само собой разумеется, что Панаева могла напутать в передаче выражений Тургенева, тем более, что писала свои воспоминания через несколько десятилетий после того, как произносились передаваемые ею монологи. Но сомневаться в том, что сущность тургеневского отношения к "семинаристам" уловлена ею верно, не приходится. (Ведь не постеснялся же Тургенев, беседуя с Чернышевским, сравнить его, правда, в шуточной форме, со "змеей", а Добролюбова даже с "очковой змеей").

Нельзя не отметить, что антипатию Тургенева к Чернышевскому разделяли и другие писатели 40-х гг. В 1913 г. новый "Современник" (см. No 1) напечатал письмо Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 г., в котором Лев Николаевич, высказав отрицательное мнение об одной статье Чернышевского, неправильно, впрочем, приписанной им Некрасову, продолжает: "Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в "Современнике", а теперь срам с этим клоповоняющим {Это слово было выпущено при печатании письма в "Современнике".} господином. Его так и слышишь, тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся все более оттого, что говорить он не умеет и голос скверный. - Все это Белинский! Он-то говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном потому, что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза. Не думайте, что я говорю о Б., чтобы спорить. Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был, как человек, Прелестный и, как писатель, замечательно полезный, но именно оттого, что он выступал из ряда обыкновенных людей, он породил подражателей, которые отвратительны. У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в *обществе* утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому, что человек желчный, злой, не в нормальном положении".

Этот отрывок любопытен, между прочим, и потому, что в нем одновременно отразились и крайнее Нерасположение к личности и вполне отрицательное отношение к направлению, ею воплощаемому.

Сохранился ответ Некрасова на нападки Толстого на Чернышевского: "Особенно мне досадно, писал Некрасов Толстому от 22 июля 1856 г., что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку, и коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что оно нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве. Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться, Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости-- у нас немало к ней поводов. И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, т. е. больше будем любить - любить не себя, а свою родину".

Если Тургенев и Толстой свою нелюбовь к Чернышевскому проявляли в частных письмах, то один из писателей их кружка (Д. В. Григорович) не задумался выступить против него с печатным памфлетом. В № 9 "Библиотеки для чтения" за 1855 г. он поместил юмористический рассказ "Школа гостеприимства", в котором вывел (Чернышевского в лице Чернушкина - грубоватого гостя, злословящего на всех. "Наружность его,-- писал Григорович,-- так поражала своею ядовитостью, что, основываясь на ней только, один редактор, (т. е. Некрасов - В. Е. -М.) пригласил его писать критику в своем журнале".

Этот поступок Григоровича вызвал, хотя и в затушеванном виде, печатный протест со стороны Некрасова. В своих "Заметках о журналах за сентябрь 1855 г." (в № 10 "Совр.") он в общем положительный отзыв об этом рассказе заканчивает такими словами: "Есть, впрочем, черта в новом рассказе г. Григоровича, которая может произвести неприятное впечатление, но она собственно не относится ни к литературе, ни к читателям, ее заметят только немногие, и потому мы умалчиваем о ней, предоставляя себе при другом случае коснуться вопроса о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения".

Вообще, что касается Некрасова, то его образ действий в отношении Чернышевского с самого момента приглашения его в редакцию "Современника" свидетельствовал о чувстве искренней симпатии и отличался полной самостоятельностью и независимостью от чьих бы то ни было мнений. Мы не будем "излагать то, что рассказывал сам Николай Гаврилович (см. статью Ляцкого в "Современном Мире", № 9, 10, 11) о своем знакомстве с Некрасовым, о том благоприятном впечатлении, которое произвел на него поэт своими прямою и искренностью, об его в высшей степени честном и благородном поведении в вопросе о совместном сотрудничестве Чернышевского в "Современнике" и конкурировавших с "им "Отечественных Записках" Краевского, нам важно только напомнить читателю об этих фактах, которые с несомненностью свидетельствуют о том, что Некрасов сразу почувствовал в Чернышевском присутствие какого-то близкого и родного ему начала. О степени независимости, которую проявил Некрасов в деле привлечения и сотрудничества Ник. Гавр, в "Современнике", можно судить хотя бы по следующему рассказу Колбасина ("Современник", 1911 г., № 8): "Многие из крупных сотрудников "Современника" долго не знали, кто помещает в журнале критические и библиографические статьи. В эту тайну не был посвящен даже ответственный редактор Панаев. Когда же к Некрасову приставали за объяснениями Тургенев, Боткин, Григорович и др., Некрасов обыкновенно как-нибудь уклонялся от прямого ответа, и имя нового сотрудника оставалось неизвестным. Один раз Боткин настойчиво стал допрашивать поэта и сказал: "Признайся, Некрасов, ты, говорят, выкопал своего критика из петербургской семинарии?" - "Выкопал,-- отвечал Некрасов. - Это мое дело".

С какой целью так поступал в данном случае Некрасов, - понять нетрудно: он, очевидно, сознавал, что Чернышевский едва ли придется по нраву его друзьям из числа людей 40-х гг., и, прежде чем представить его им, хотел дать ему возможность зарекомендовать себя полезным сотрудником журнала. При таких условиях отстаивание Чернышевского для Некрасова значительно облегчалось; пожертвовать же Николаем Гавриловичем, в угоду своим старым приятелем, Некрасов не был расположен, сразу разгадав в нем крупную интеллектуальную и литературную силу. Недаром в письме к Тургеневу от 7 декабря 1856 г. он говорил о Чернышевском: "Чернышевский просто молодец, помяни мое слово, что это будущий русский журналист помяни меня грешного". Иной раз Некрасов, конечно, мог ворчать на Чернышевского, находить его хотя и "дельным и полезным", но "крайне односторонним, что-то

вроде если не ненависти, то презрения питающим к легкой литературе", утверждать даже, что Чернышевский "ушел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности" (в письме к Тургеневу от 27 июля 1857 г.), но основной взгляд на него выражаемый в только что приведенных словах, остался неизменным. Высоко ставя его сотрудничество вообще, дорожа его статьями, Некрасов тем больше укреплялся в своем отношении к Чернышевскому, что видел, что оно хотя и не разделяется кружком его старинных друзей, зато вполне разделяется широкими кругами читающей публики. При этом Некрасов превосходно понимал, что растущая популярность Ник. Гавр, и вскоре присоединившегося к нему Добролюбова обуславливается, прежде всего, не знающей (компромиссов определенностью их взглядов, которую он не мог не уважать даже в тех случаях, когда не вполне с ними соглашался. Такой именно характер имеют его отзывы о Чернышевском и Добролюбова в предпоследнем, дошедшем до нас его письме к Тургеневу (1861 г.). "Поставь себя на мое место, - говорит здесь Некрасов, - ты увидишь, что с такими людьми, как Черн. и Добр. (людьми честными и самостоятельными, что бы ты они думал и как бы сами они иногда ни промахивались) - сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх".

Итак, мы считаем более или менее выясненным, что и в вопросах литературно-эстетических, и в вопросах литературно-общественных, и, наконец, в отношении к писаниям и личности Чернышевского между Некрасовым, с одной стороны, Тургеневым, Толстым, Дружининым и Григоровичем, с другой, обнаружилось в 1855--56 годах столь существенное расхождение, которое делало неизбежным в более или менее недалеком будущем и окончательный разрыв.

IV

Не имея в виду подробно останавливаться на тех литературных фактах, которые все более и более обостряли отношения между двумя разнородными половинами редакции "Современника", напомним, что важнейшими из них надо считать не резкие нападки Чернышевского на Авдеева ("Современник" 1853 г., No 2), писателя, не пользовавшегося среди поколения "отцов" особым авторитетом, и не иронический разбор им книжки "Новые повести". Рассказы для детей" ("Совр." 1855 г., No 30), хотя в нем и можно видеть уколы по адресу Григоровича, как автора рассказов из простонародного быта, а известную статью Чернышевского об "Асе" Тургенева "Русский человек на rendez vous" ("Атеней", 1858 г., No 18) и еще более известные статьи Добролюбова "Литературные мелочи прошлого года" ("Современник" 1859 г., NoNo 1 и 4) и "Что такое обломовщина?" (там же, 1859 г., No 5). Было бы излишне доказывать, что эти статьи, родственные по духу, являлись отходною для старшего поколения, преобладающем типом которого был тип "лишнего человека", столь художественно обрисованный Тургеневым и Гончаровым. Пусть в своем походе против "отцов", независимо от того, какое обличие они принимали: Рудина ли, героя ли "Аси", Обломова ли и пр. и пр., Чернышевский и Добролюбов базировались на художественном материале, даваемом творениями самих "отцов", - это отнюдь не могло избавить последних от горьких и обидных размышлений о том, что на их поколении ставится крест, и кем же!-- "мальчишками", тем более что Чернышевский и Добролюбов по своему психологическому складу не были склонны ко всякому рода недомолвкам и, высказывая свои мнения, сообразовались прежде всего со своим внутренним убеждением, а не с тем, как они будут приняты тем или другим влиятельным литератором. Это свойство обоих "молодых" сотрудников "Современника", неизменно проявляемое ими в сфере литературной, не одинаково было присуще им в сфере житейских отношений: Чернышевский был много мягче и уступчивее Добролюбова, тогда как прямолинейная угловатость этого последнего не хотела признавать никаких компромиссов, мало того, не всегда считалась с так называемыми "приличиями". Отсюда ясно, что если Чернышевский страшно раздражал старых сотрудников "Современника", то Добролюбова они просто не могли выносить и были даже в этом с своей точки зрения, не совсем правы. Вот что рассказывает Чернышевский о характере отношений Тургенева и Добролюбова, видевшихся очень часто, так как первый каждый день заезжал к Некрасову, а последний жил у него: "Я, кончив разговор с Некрасовым имеется в виду деловой разговор, спросил у него, что такое значит показавшийся мне раздраженным тон рассуждений Тургенева о Добролюбова. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом. "Да неужели вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова". Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой

ненависти - их две - говорил он мне. Главная была давнишняя и имела своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: "Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить", - встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно стал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, т. е. каждый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После множества таких случаев Тургенев отстал, наконец, от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если Добролюбов разговаривал с другими, и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева были попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону" (см. "Современный Мир", 1911 г., No 11).

Разговор Некрасова с Чернышевским, упоминаемый здесь, который заставил ненаблюдательного Николая Гавриловича впервые задуматься об отношениях Тургенева и Добролюбова, происходил, по его словам, уже после напечатания статьи Добролюбова, о "Накануне" (в No 3 "Совр." 1860 г.). В (этом, однако, (позволительно сомневаться. Возможно, что в данном случае память изменила Чернышевскому; во всяком случае, та характеристика отношений Тургенева и Добролюбова, которая дана в этом разговоре, указывает на более раннее время. Как бы то ни было, но в начале 1859 г. между "отцами" и "детьми" началась открытая война. Правда, ареной ее, покамест, была еще не редакция "Современника", но это, конечно, не меняло сущности дела. На упомянутые статьи Добролюбова начала 1859 г. решил отвечать Герцен. В июньском- номере "Колокола" он поместил статью "Very danegerous", в которой позволил себе не только заговорить о "тлетворной струе" и "разврате мысли", якобы культивируемых "Современником", но и заподозрить редакцию этого журнала в том, что она находится под "наитием направительного и назидательного триумvirата" (т. е. цензурного триумvirата, состоявшего из гр. Адлерберга, Тимашева и Муханова) и, действуя своими нападениями на либералов в руку реакции, может досви статья не только да Булгарина и Греча, но до Станислава на шее". Нельзя не присоединиться к оценке этой статьи, сделанной М. К. Лемке, который называет ее "резкой, несправедливой и оскорбительной" и недоумевает, как "мог дойти Герцен в своем "прекрасном далеке" до заподозрения "честности и неподкупности "Современника", в частности Добролюбова", и обнаружить столь "удивительное по своей колоссальности (непонимание мыслей" этого последнего.

Отношение ко всей этой истории Некрасова достаточно определяется отрывком из (дневника Добролюбова от 5 июня (см. "Полное собрание сочинений Добролюбова" (под редакцией Лемке, т. III). Замкнутый в себе и сдержанный редактор "Современника" был так потрясен "статьей Герцена, что заговорил о поездке в Лондон и о дуэли с ее автором {Некоторые черты в отношении Некрасова и Герцена прояснены в нашей статье "Некрасов и Герцен" ("Заветы", 1913 г., No 1)}. До дуэли дело, конечно, не дошло, но и попытка договориться с Герценом через посредство Чернышевского, который с этой целью предпринял, на строго конспиративных началах, поездку в Лондон, осталась, повидимому, безрезультатной. Разговор Чернышевского с Герценом обнаружил только то, что собеседники не владеют общим языком. У нас нет определенных данных, которые освещали бы отношение Тургенева к начавшимся военным действиям между Герценом и "современниковцами". Однако можно быть совершенно уверенным в том, что он всецело стоял на стороне Герцена. В частности, к личности Некрасова у него в это время стало вырабатываться вполне отрицательное отношение. В письме к Фету от 1 августа 1859 г. он упоминает о "вонючем цинизме господина Некрасова", а самого Некрасова рисует в образе "злобно зевающего барина, сидящего в грязи". Впрочем, Тургенев все еще не рвал своих отношений с "Современником", хотя свой новый роман ("Накануне") отдал в другой журнал ("Русский Вестник"), что, конечно, являлось дурным симптомом. Статье Добролюбова о "Накануне" ("Когда же придет настоящий день") суждено было стать поводом для окончательного разрыва Тургенева с Некрасовым и "Современником".

Панаева в своих воспоминаниях утверждает, что Тургенев, благодаря нескромности цензора Б. (т. е. Бекетова) познакомившийся со статьей ранее ее появления в журнале, потребовал от Некрасова, чтобы было выкинуто все начало статьи, а когда Некрасов попытался

было возражать, поставил ему настоящий ультиматум в особой записке, гласивший: "Выбирай: я или Добролюбов". На воспоминания Панаевой-Головачевой среди некоторых исследователей нашей литературы установился взгляд, как на источник весьма недостоверный. Мы менее, чем кто-либо другой, склонны отрицать, что они действительно изобилуют и искажениями, и преувеличениями, и даже фактическими ошибками, но, тем не менее, не можем не согласиться с мнением покойного Пыпина, что в них "при некоторых личных пристрастиях, много совсем справедливого" (см. книгу о Некрасове, стр. 68). Так и ее рассказ о событиях, сопровождавших Появление в печати статьи Добролюбова о "Накануне", представляется нам в основе своей внушающим доверие, тем более, что он подтверждается и другими источниками. Так П. М. Ковалевский, сотрудничавший тогда в "Современнике", в своих "Встречах на жизненном пути" ("Русская Старина" 1910 г., No 1) подтверждает факт просмотра Тургеневым статьи Добролюбова раньше ее напечатания, а М. К. Лемке на страницах "Полного собрания сочинений" Добролюбова (изд. Панафидиной?, т. IV, стр. 32) опубликовал письмо цензора Бекетова, к Добролюбову от 19 февраля 1860 г., в котором Бекетов выражал желание повидаться с Добролюбовым, чтобы перетолковать об его статье и некоторых сокращениях в ней, якобы необходимых в виду цензурных требований и во внимание к интересам Тургенева. "Напечатать так, - писал здесь Бекетов,-- как она вылилась из-под вашего пера, по моему убеждению, значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному"... Эти слова Бекетова дают достаточное основание утверждать, что найденная нами нижеследующая записка Тургенева к Некрасову писана по поводу той же статьи Добролюбова:

"Убедительно тебя прошу, милый Н., не печатать этой статьи: кроме неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка - я не буду знать, куда бежать, если она напечатается. - Пожалуйста, уважь мою просьбу. Я зайду к тебе.

Твой И. Т."

Трудно допустить, чтобы случайное совпадение, а не единство объекта, заставило Бекетова настаивать на сокращении и Тургенева на напечатании вовсе какой-то статьи, прикрываясь одним и тем же мотивом - возможностью "неприятностей", очевидно, со стороны властей предрешающих для Тургенева. Конечно, у "страха глаза велики", в особенности, когда мы испытываем его за себя, а таким в данном случае именно и был страх Бекетова и Тургенева, но, с другой стороны, нельзя отрицать, что статья Добролюбова о "Накануне" является одной из наиболее радикальных именно по своему политическому смыслу из всего наследия великого критика. Не забудем, что в ней явно сказалось сочувствие тому пункту социализма, который лежал в основании мировоззрения Чернышевского - к благу реальной личности как главному критерию. Затем в этой статье с полной ясностью проявилась вера Добролюбова в неизбежность революционной борьбы в России. Не уставая подчеркивать, что главная цель Инсарова заключается в том, чтобы "освободить" родину, Добролюбов выражал страстное убеждение, что наступает время появления русских Инсаровых, которым придется бороться за освобождение родины не с внешними, а с внутренними врагами. Относящиеся сюда строки его статьи в "Современнике" напечатаны не были; они гласили: "Для удовлетворения чувства, нашей жажды", нужен человек, как Инсаров, - но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам ее нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и в восторгах, какие доньше испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство того, что общество наше умеет тенить этих героев. Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой войны? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, охваченные с детства одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно или доставить этой идее торжество, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучше, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою: условия для его развития, и особенно для первого проявления его деятельности, крайне неблагоприятны, и задача гораздо труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный, гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый и между тем тревожащий вас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться только переменявши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в "которой он зародился, вырос и усилился, и обвевявши себя таким воздухом, которым он дышать не может."

Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к нашим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет появлению такого человека".

Если принять во внимание, что Добролюбов, отнюдь не отказывая Тургеневу в понимании того, что его "прежние герои (т. -е. лишние люди. - В. Е. -М.) уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии в лучшей части нашего общества", всячески (приветствовал проявленную Тургеневым готовность встать на дорогу, на которой совершается передовое движение настоящего времени", и готов был считать его художественное творчество своего рода "сильною пропагандою" (эти слова опять-таки были изъяты цензурою из текста "Современника"), то страхи Тургенева и Бекетова сделаются совершенно понятными. Первый, очевидно, опасался того, что его могут обвинить в предвозвещении скорого наступления революционного "дня", чуть ли не в "пропаганде"; второй - того, что ему (будет поставлено в вину допущение публичного раскрытия Добролюбовым, опять-таки в целях все той же революционной пропаганды, тайного {Хотя в романе "Накануне" Тургенев проявил более радикальный образ мыслей, чем в каком-либо другом своем произведении, однако, справедливость требует оговорить, что едва ли он предвидел возможность толкования его романа в таком революционном духе, как это сделал Добролюбов.} смысла тургеневского романа. Нет надобности распространяться, что Тургенев выказал себя в данном инциденте отнюдь не с (лучшей стороны: и чтение статьи в корректуре, без ведома автора, и предъявление известных требований, имевших несомненный характер авторской цензуры, и самая (мотивировка этих требований соображениями вполне личного порядка,-- все это, конечно, ложные шаги. Сделались же эти ложные шаги возможными на почве резко уже обозначавшегося идейного расхождения Тургенева с новой редакцией "Современника". Внешним и чрезвычайно определенным показателем того, как далеко зашло это расхождение, может служить тот факт, (что "Накануне" появилось не в "Современнике", а в "Русском Вестнике". При наличии прежних отношений - это было бы, само собой разумеется, невозможно.

Мы далеки от мысли давать описываемой распре одностороннее толкование, т. -е. всю вину возлагать на Тургенева. Наша основная точка зрения сводится к тому, что виноватых в ней, собственно говоря, не было, так как конфликт был вызван не столько личными причинами, которые могли играть и действительно играли лишь второстепенную роль, сколько различием мировоззрений и, пожалуй, еще в большей степени различием психологии "отцов" и "детей", разумея под теми и другими не столько представителей различных поколений, сколько представителей различных классовых групп. Если же становиться на точку зрения констатирования отдельных ложных шагов, то, конечно, в них был повинен не только Тургенев, но и противная сторона. Бесспорною ошибкой "Современника" следует признать помещение в рецензии о книге Готорна "Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии" (1860 г., № 6) нескольких насмешливых и обидных замечаний, касающихся "Рудина". Автор рецензии (Чернышевский, а не Добролюбов, как предполагали прежде) упрекал Тургенева в том, что он, имея в виду изобразить М. А. Бакунина (имя не было названо), "человека, не бесславными чертами вписавшего свое имя в историю", в угоду своим "литературным советникам" вздумал было сделать из "льва" материал для "кариктуры". В результате из повести, которая должна была бы иметь высокий "трагический характер", "вышел винигрет сладких и кислых {насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей".

История создания "Рудина", тех колебаний, которые испытывал во время нее Тургенев, тех переделок, которым он подвергал своего героя,-- общеизвестна. Если дополнить ее сведениями, сообщенными Чернышевским в его воспоминаниях ("Совр. Мир", 1911 г., No 11, стр. 178--179), его можно считать установленным, что только что приведенный отзыв Ник. Гавр. о "Рудине" имеет за собой известные основания. Однако печатать его все же не следовало именно потому, что он приобретал явно тенденциозный характер в виду изменившихся отношений с Тургеневым, как не следовало позволять мелких выпадов по адресу Тургенева. {Примеры мелких выпадов "Современника" приводятся М. Н. Гутьяром в его книге "Ив. Серг. Тургенев", Юрьев, 1907 г., на стр. 239--240.} Конечно, существенного значения эта последние иметь не могли, так как в основе разрыва лежали несравненно более глубокие причины, о которых уже было достаточно говорено, но если бы редакция Некрасовского журнала нашла в себе достаточно объективности, чтобы от них воздержаться, то это послужило бы только к ее чести.

Не останавливаясь на дальнейших подробностях разрыва, окончательно фиксированного письмом Тургенева к Панаеву с отказом сотрудничать в "Современнике" от 1-13 октября 1860 г. (оно, кстати сказать, не было передано Панаеву Анненковым) и полемикой между "Русским Вестником" (1861 г., No 1, ст. "Несколько слов вместо современной летописи") и "Современником" (1861 г., No 6, стр. 452--456 "Современного Обозрения"), но по поводу предъявленного первым обвинения, что отзывы (второго о современных писателях стоят в зависимости от того, сотрудничают ли они в нем или нет: с прекращением расчетов на сотрудничество изменяется-де и "тон отзывов",-- отметим, что если в начале 1861 г. разрыв этот еще не носил характера полной непримиримости (15 января 1861 г. Некрасов отправил Тургеневу письмо, в котором делал попытку восстановить их добрые отношения, говорил о своей любви к Тургеневу, о том, что он неотступно думает о нем и даже несколько ночей сряду видит его во сне), то во второй половине 1861 г. и особенно в 1862 г. он уже принял формы, отнимавшие всякую надежду на: более или менее безболезненный исход. В No 2 "Современника" за 1862 г. в статье Чернышевского "В изъявление признательности" (по поводу отношений его к Добролюбову) был приведен рассказ о том, как в разговоре с ним, Чернышевским, Тургенев назвал его "просто змеею", а Добролюбова "очковой". В третьей же книжке журнала появилась пресловутая статья Антоновича об "Отцах и детях" - "Асмодей нашего времени", в которой Тургенев весьма решительным образом был зачислен в ряды обскурантов и гонителей молодого поколения. Конечно, включение в статью Чернышевского рассказа о прозвище, данном Тургеневым Добролюбову, симпатии к которому были разогреты его безвременной кончиной, и, в особенности, помещение статьи Антоновича, написанной в тоне более чем резком, свидетельствовали о значительной степени раздражения, накопившегося против Тургенева в редакции "Современника".

Однако справедливость требует отметить, что это раздражение проистекало не из каких-либо личных мотивов. Чернышевский верил в справедливость своих слов, когда, отвечая "Русскому Вестнику", писал: "Нам стало казаться, что последние повести Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда его направление не было для нас так ясно, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого Тургенева" ("Современник" 1861 г., No 6). Тургенев в письме к Достоевскому от 3 октября 1861 г. выражал свое крайнее возмущение этой версией ("Современник" плюется и сознательно лжет"), ссылаясь на то, что у него есть письмо от Некрасова, "написанное в начале этого года, в котором он делает ему самые блестящие предложения". Однако, эта ссылка не совсем верна. Отмеченное выше письмо Некрасова к Тургеневу от 15 января 1861 г. - о нем-то здесь и идет речь - никаких "блестящих предложений" не заключало да и вопроса о повести касалось очень слегка. "Прошу тебя думать, - писал Некрасов, - что в сию минуту хлопочу не о "Современнике" и не из желанья достать для него твою повесть, - это как ты хочешь, - я хочу некоторого света в отношении самого себя и повторяю, что это письмо (вызвало неотступностью мысли о тебе". Зато несколько выше Некрасов заявил с чрезвычайной определенностью: "Не могу думать, чтобы ты сердился на меня (курсив автора) за то, что в "Современнике" появились вещи, которые могли тебе не нравиться. Я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Доброл. (людьми честными, самостоятельными, что бы ты ни думал, и как бы сами они ни промахивались) - сам бы ты так же действовал, т. -е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх"... Отсюда ясно, что наличность идейных разногласий между Тургеневым и редакцией "Современника" в достаточной мере сознавалась и Некрасовым.

Эти разногласия с особой рельефностью вырисовались после появления на страницах "Русского Вестника" "Отцов и детей". Споры нет, что "Современник" и его многочисленные единомышленники поняли роман односторонне. Говорить о нем как о злостной пародии, сознательной клевете на молодое поколение, конечно, ее было достаточно объективных оснований. Но факт остается фактом: "Отцы и дети", правильно или неправильно, но были поняты, как выпад против радикальной молодежи. Так взглянул на роман Антонович, так взглянули на него и другие руководители "Современника". Нам уже приходилось приводить в печати мнение о нем Гр. Зах. Елисеева, извлеченное из рукописи незаконченной, неотделанной, а потому и не увидевшей света статьи этого писателя о земстве. Рассказав о выходе Тургенева из состава сотрудников "Современника", вследствие недовольства статьей Добролюбова о "Накануне" и неисполнения Некрасовым его пожелания, "чтобы эта статья вовсе не была напечатана, Елисеев продолжает: "Кипятясь от злости и досады, Тургенев захотел дать чувствительный щелчок такому молокососу, который хотел сделаться ментором его, старого (мастера, в деле создания словесных художественных произведений, а вместе с тем и приютившему у себя этого молокососа "Современнику"... Тургеневу пришла на ум злостная мысль сделать маскарад, заставив действовать перед публикой вместе и людей старых и тех, которых якобы Добролюбов называет людьми новыми. Для чего под видом новых людей вывести тех же людей старых, т. е. имеющих одинаковые с ними мысли, чувствования и тенденции, но находящихся еще в школьном возрасте. Подходящих для подобной цели балбесов можно было набрать сколько угодно среди всякой учащейся молодежи - была бы только охота! Для предположенной Тургеневым цели маскарад был тем более с руки, что "Современник" вообще стоял горой за молодое поколение и на него возлагал все надежды в будущем... Тургенев взял в представители новых людей несколько лиц преимущественно учащейся молодежи. "Так вот "каких новых людей готовит нам "Современник" из нашего учащегося юношества",-- говорило большинство публики. Слово "нигилист" сделалось почти озарением для всех. Точно завеса у всех спала с глаз и всем стало ясно, какая такая преступность заключается в "Современнике". Доселе многие только смутно предполагали, что есть что-то недоброе в "Современнике", по темным слухам, исходящим от его недоброжелателей, но точно никто не мог оказать, в чем это недоброе состоит и даже есть ли оно действительно. Теперь вина "Современника" для всех стала ясна. Он занимается приготовлением из учащейся молодежи для общества балбесов, ни во что не верующих, по жизни распущенных, ни к чему не пригодных, пожалуй, даже мазуриков.

Напрасно "Современник" посвятил длинную статью рассмотрению повести Тургенева, где обстоятельно доказывалось, что картинка, нарисованная Тургеневым, есть чистый подлог, что в действительности серьезная учащаяся молодежь не имеет в себе ничего похожего на это изображение. Статья эта не имела никакого действия. "Конечно, будет защищать дело рук своих",-- говорили, вероятно, о "Современнике" и те, кто имел терпение прочесть статью до конца. Нравственная репутация учащейся молодежи в общественном мнении вдруг страшно упала, так как молодые люди почти поголовно, огулом были зачислены в нигилисты. И когда весной 1862 г. случился страшный пожар, уничтоживший Апраксин и Щукин дворы, молва, не усомнилась признать виновниками этого пожара нигилистов. "Они, дескать, жгут города". Газеты и журналы, передавая это голословное обвинение молвы, не сочли себя обязанными решительно и категорически отразить эту бессмысленную клевету. Таким образом *tacito modo* пожар точно и действительно был признан делом нигилистов, и вместе с этим закрыт был на восемь месяцев "Современник", а бывший руководитель его немедленно заключен в крепость. Всем этим как будто в самом деле подтверждалось то, что "Современник" занимался приготовлением из учащейся молодежи нигилистов,-- людей, способных на все, на самые преступные дела, как поджоги и т. п.

Вот какое страшное, если не прямое обвинение, то подозрение в нашем обществе могло возникнуть из такой пустой вещи, как красиво написанная легкомысленным человеком повестца, и какую оно тяжестью обрушилось и на ни в чем неповинный журнал, и на ни в чем неповинных работавших в нем сотрудников, и тем более на ни в чем неповинную учащуюся молодежь и, наконец, на неповинную ни в нем либеральную партию". {Весьма показательно, что даже III отделение в своем отчете за 1862 год отмечало "благотворное влияние на умы", которое "имело сочинение известного писателя Ивана Тургенева "Отцы и дети". Находясь во

главе современных русских талантов, - говорится далее в отчете, - и пользуясь симпатией образованного общества, Тургенев этим сочинением, неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеил наших недорослей-революционеров едким именем "нигилистов" и поколебал учение материализма и его представителей" (ст. Н. Бельчикова "III отделение и роман "Отцы и дети". - Документы по истории литературы и общественности. Центр-архив, вып. II, "И. С. Тургенев." ГИЗ, 1923 г., стр. 165--166).}

Трудно согласиться и с тем, что говорит Елисеев о тенденции, руководившей Тургеневым при создании "Отцов и детей", и с его заключительным выводом, чрезмерно расширяющим влияние тургеневского романа, который является в его глазах одной из причин общественной и правительственной реакции, заметно поднимавших голову задолго до начала польского восстания 1863 г., но отрицать всякую связь между ними было бы едва ли справедливо хотя бы уже потому, что Тургенев в своем романе, конечно, без всякого заранее обдуманного намерения, выступил как бы застрельщиком в начинавшемся походе против нигилистов. Характерно, что Чернышевский и Салтыков смотрели на "Отцов и детей" такими же глазами, как Антонович и Елисеев. Что же касается отношения к нему Некрасова, то на него удалось пролить свет сравнительно очень недавно. В конце 1917 г., в дни 40-летней годовщины смерти поэта, на страницах одной из петроградских газет ("Новая жизнь", 1917 г., No 2/10) появилась нижеследующая заметка К. Чуковского:

"11 января 1877 г. Некрасову немного полегчало. Он потребовал карандаш и бумагу. Стихов писать он уже не мог, а писать хотелось, и вот он стал записывать по памяти свои старые, забытые стихи, написанные лет 20-15 назад. В числе стихов он занес такое:

Мы вышли вместе... наобум
Я шел во мраке ночи,
А ты... уж светел был твой ум
И зорки были очи.
Ты знал, что ночь, глухая ночь,
Всю нашу жизнь продлится,
И не ушел ты с поля прочь,
И стал ты честно биться.
Врагу дремать ты не давал,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывал
С глупца и негодяя.
И что же? Луч едва блеснул
Сомнительного света,--
Молва гремит, что ты задул
Свой факел... ждешь рассвета.

На смертном одре Некрасов любил делать подробные примечания ко многим своим стихам. Над этим стихотворением он написал сверху крупным, энергическим почерком:

Тургеневу

и под заглавием в скобках: "Писано собственно в 1860 г., когда разнеслись слухи, что Тургенев написал "Отцов и детей" и вывел там Добролюбова".

Нет надобности распространяться о том, какой интерес представляют найденные К. Чуковским 16 строчек этого стихотворного отрывка. Основываясь на них, можно утверждать, что и Некрасов склонен был оценивать роман "Отцы и дети" как своего рода отступничество, как измену прежнему знамени. Правда, впоследствии поэт переделал это стихотворение, придав ему несколько иной характер. Нами еще в 1913 году был напечатан его обработанный текст (стихотв. "Ты как поденщик выходил"), причем содержание этого обработанного текста таково, что позволяет говорить уже не только о Тургеневе, но и о Герцене, как об адресате стихотворения. Быть может отсюда и следует сделать тот вывод, что впоследствии взгляд Некрасова на тургеневский роман изменился, но за всем тем совершенно несомненно, что под

впечатлением слухов о содержании "Отцов и детей" Некрасов стал в отношении к этому произведению в такую же примерно позицию, как и его соредакторы по "Современнику",

Чем же объяснить эту единодушную отрицательную оценку, вызванную ("Отцами и детьми") со стороны органа, который выражал идеологию радикальной молодежи того времени? Вполне объективный, глубоко продуманный ответ на этот вопрос читатель найдет в одной из книг столь далекого от каких-либо нигилистических пристрастий исследователя, как академ. Н. А. Котляревский. Не столько чисто критический, сколько критико-социологический анализ содержания "Отцов и детей", в особенности типа Базарова, привел почтенного ученого к убеждению, что "самому художнику был не совсем ясен тип, над разъяснением которого он работал", а потому, хотя "совесть художника была спокойна", но "портрет получился настолько туманный и далекий от желанного, что молодежь никак не хотела себя узнать в нем и имела право рассердиться. Если бы молодежь отнеслась к роману более хладнокровно, она увидела бы, что историческая правда в нем не умышленно нарушена, и что если уж нужно автору Сказать неприятность, то винить его надо не в злом умысле, а в нетерпении и в слишком поспешном выборе героя, который в герои не годился". Однако молодежь лишена была возможности проявить такое более хладнокровное отношение. Здесь сыграли роль два обстоятельства: во-первых, односторонний подбор художником черт, характеризующих Базарова, во-вторых, то употребление, которое сделали из тургеневского романа и пущенного им в оборот термина "нигилист" реакционные круги. "Когда молодой читатель,-- продолжает акад. Н. А. Котляревский,-- стал присматриваться к Базарову, он был неприятно поражен этой встречей. Он в Базарове нашел все свои недостатки и почти ни одного качества умственного и душевного, которыми привык гордиться". Быть может в этом именно утверждении и есть некоторая доза преувеличения, но в общем аргументация Н. А. Котляревского (за ее подробностями отсылаем читателей к книге "Канун освобождения") настолько доказательна, что вполне объясняет как недовольство молодежи изображением Базарова, так и причину этого недовольства - преобладание в характеристике Базарова отрицательных черт над положительными. При таких предпосылках подход Котляревского к статье Антоновича должен быть несколько иным, чем тот, к которому мы привыкли. Трактовать ее как критический курьез, как образец критической безграмотности, нельзя, несмотря на несомненные злобность и резкость ее тона. "Статья Антоновича,-- читаем у Котляревского,-- имеет большую историческую ценность. Она выражала не единичное мнение какого-нибудь любителя словесности, а мнение широкого круга читателей, которым до словесности не было, в сущности, никакого дела. Эти читатели были возмущены тем, что художник старшего поколения, много живший и опытный в разрешении разных психологических задач, так произвольно упростил в своем романе одну из труднейших задач души человеческой. Пусть художник и не имел в виду опорочить молодое поколение, пусть он добросовестно наблюдал жизнь, но зачем он так легкомысленно отнесся к тем душевным и умственным борениям, которые молодежь так глубоко переживала, которые стоили ей таких усилий над собою и, конечно, стоили многих страданий? Разве та сложная душа, мятежная, поставленная на раскутай между отрицанием и утверждением, между ненавистным прошлым и желанным будущим, вынужденная отречься от многого, что могло быть дорого,-- разве она могла быть так проста, спокойна и так часто груба и нечувствительна, как душа Базарова, для которого все вопросы решены бесповоротно потому, что большинство этих вопросов им отвергнуто без всякого раздумья? Неужели разрушитель и отрицатель, и только отрицатель, был наиболее характерным и наиболее распространенным типом среди всех молодых душ и умов, которые считали, что отрицание есть необходимая ступень к новому строительству жизни? Антонович был прав, когда упрекал Тургенева в том, что он осветил необычайно сложный вопрос лишь с одной стороны и выбрал из среды молодежи представителя, который ни в моем случае не мог быть представителем большинства. Пусть даже Тургенев не тенденциозен в этом выборе, он погрешил против правды жизни, которая была значительно сложнее, чем ему это показалось".

При таком взгляде на возрос становится совершенно ясным, что и конфликт из-за "Отцов и детей", подобно тому как отмеченное выше расхождение в оценке пушкинского и гоголевского направлений и их значения в русской литературе, подобно тому, как столкновение из-за статьи Добролюбова о "Накануне", является не более как одним из логических следствий глубокой розни между Тургеневым и Некрасовым, в основе которой лежало не только различие в общественно-политических взглядах, но и обуславливающее эти взгляды различие органических восприятий. Тургенев воспринимал явления общественной действительности 60-х гг., в "частности все яснее и яснее обнаруживавшийся крайний радикализм заполнивших

общественную арену представителей молодой разночинной интеллигенции в вопросах и политического, и социально-экономического, и философского порядка, совершенно иначе, чем Некрасов. Тургенева с его барственной культурностью, с его утонченным эстетизмом не могла не пугать проповедь коренной ломки, направленная против многого того, с чем он свыкся и сросся, что впитал в себя с молоком матери. Отсюда его настороженность в отношении Базарова, отсюда его "постепеновство"; Некрасов же не только не испытывал этих боязни и настороженности, но и в проповеди, и во внешних приемах и методах действия интеллигентно-разночинцев чувствовал социальное и психологическое следствие тех жизненных условий и впечатлений, с которыми так близко познакомился в дни своей молодости.

В том же 1862 г., к которому относится полемическая шумиха по поводу "Отцов и детей", чрезвычайно углубившая трещину между Тургеневым и Некрасовым, Тургенев решился на шаг, с очевидностью показавший, как велико было его раздражение против Некрасова. Мы имеем в виду письмо Тургенева в редакцию "Северной Пчелы" (см. No 334) по поводу следующей фразы в фельетоне А. Ю., помещенном в одном из предшествующих номеров (в No 3 16): "Пусть Некрасов жертвует гг. Тургеневым, Дружининым, Писемским, Гончаровым и Авдеевым и издает "Современник"!"

В своем письме Тургенев, ссылаясь на то, что его молчание (в ответ (на заявления, подобные заявлению *т. А. Ю.*, может быть сочтено "за знак согласия",-- писал: "Позвольте мне изложить перед вами в коротких словах, как совершилось на самом деле мое отчуждение от "Современника". Я не стану входить в подробности о том, когда и почему оно началось, но в январе 1860 г. "Современник" еще печатал мою статью ("Гамлет и Дон-Кихот"), и г. Некрасов предлагал мне при свидетелях весьма значительную сумму за повесть, запроданную "Русскому Вестнику", а весной 1861 г. тот же Некрасов писал мне в Париж письмо, в котором он, с чувством жалуясь на мое охлаждение, возобновлял свои лестные предложения и, между прочим, доводил до моего сведения, что видит меня почти каждую ночь во сне. Я тогда же отвечал г. Некрасову положительным отказом, сообщая ему свое твердое решение не участвовать более в "Современнике", и тут же прибавил, что "отныне этому журналу не для чего стесняться в своих суждениях обо мне". И журнал г. Некрасова немедленно перестал стесняться. Недоброжелательные намеки явились тотчас же и со свойственной всякому русскому прогрессу быстротой перешли в явные нападения. Все это было в порядке вещей, и я, вероятно, заслуживал эти нападения, но предоставляю вашим читателям самим судить теперь, насколько справедливо мнение г. А. Ю. Увы! г. Некрасов не принес меня в жертву своим убеждениям, и, вспоминая имена других последних его жертв, перечисленных г. А. Ю., я готов почти пенять на г. издателя "Современника" за подобное исключение.

Но, впрочем, точно ли гг. Писемский, Гончаров и Авдеев пали под жертвенным его ножом? Мне кажется, что в течение всей карьеры г. Некрасов был гораздо менее жрецом, чем предполагает г. А. Ю."

Содержание этого письма чрезвычайно показательное, так как обнаруживает основной источник той болезненной остроты, с которой Тургенев реагировал на обстоятельства своего разрыва с "Современником". Он упорно не хотел верить искренности заявлений редакции об идейных причинах ее расхождения с ним, в особенности поскольку эти заявления могли быть отнесены к Некрасову. Для Тургенева дело обстояло чрезвычайно просто: из-за его отказа дать свою повесть для "Современника" журнал стал ему мстить, причем в своей мести не брезговал никакими средствами, доходя до заведомо ложных указаний на якобы обнаружившееся различие убеждений. Наибольшая ответственность за этот низкий образ действий падает, конечно, на того человека, от которого, как от старого друга, он, Тургенев, вправе был ожидать совершенно иного отношения, тем более, что этот человек, как редактор "Современника", властен был в нем не печатать того, что и по существу своему было неправильно и нарушало традиции многолетней дружбы. Этот человек Некрасов, а потому он... далее следовал ряд самых нелестных эпитетов, характеризующих нравственные свойства Некрасова и неизменно срывающихся с уст Тургенева всякий раз, когда ему приходилось в письмах ли, в беседах ли, с друзьями разговаривать о Некрасове. С момента, когда в душе Тургенева установился подобный взгляд на Некрасова, и Некрасов это почувствовал, - а он не мог этого не почувствовать после письма Тургенева в редакцию "Северной Пчелы",-- всякие попытки примирить бывших друзей заранее были обречены на неудачу. А что такие попытки время от

времени делались, об этом свидетельствует нижеследующее, неизданное еще письмо М. Авдеева к Некрасову:

"Большое вам спасибо, любезнейший Некрасов, за письмо, и всеми распоряжениями Вашими насчет "Современ." и расчетов я очень доволен. Пожалуйста, понаблюдайте только, чтобы его высылали, но вот о чем мне хотелось давно поговорить с Вами: очень бы мне хотелось примирить "Современ." с Тургеневым. Согласитесь, что журнал Ваш был не прав перед ним и на нем лежит великий грех той невзгоды и разлада, который лег на Тургенева со стороны молодежи.

Впрочем, об этом вспоминать нечего: Вы сами хорошо знаете, вину Вашего журнала и лучше меня причины ее. Тургенева я виню в одном: поведении публиче о Ваших снах, хотя после тех каменьев, которыми кидали в него, - это весьма невинный камешек... Но тогда было горячее и заносчивое время, и теперь, когда и времена и Ваши сотрудники переменялись, Вам следует примириться с Тургеневым. Следует потому, что были неправы, потому, что Вашему журналу и легче и на нем лежит обязанность исправить некоторое зло, которое Вы сделали Тург., потому, наконец, что это полезно Вашему журналу и Тургеневу, который не принужден будет участвовать чорт знает в чем... Я не думаю, чтобы Тургенев пожелал большой уступки, но если бы нужно было пожертвовать Антоновичем (который, между нами сказать, не сила), то следовало бы и им (пожертвовать...

Не сердитесь, любезнейший Николай Алексеевич, за все высказанное и за мое непрошенное вмешательство: я на него имею право потому, что искренно желаю успеха "Современ.", и мне очень неприятна,-- да и не мне одному,-- рознь между "Соврем." и Тург.: ведь глядя на "Совр." и ослы лягают Тург. и отзываются о нем, как о нашей братии бесполезности.

Начал именно я говорить еще потому, что, зная рознь и само думанье наших общих знакомых, полагаю, что никто и не начнет говорить об этом. Может быть теперь многое и многие изменились, я так давно никого не вижу и ничего не слышу из лит. круга, кроме печатного, - но не думаю...

Да, любезный Некрасов, вспомните, как разбрелся и как редет наш кружок, и потому те немногие, которые уцелели физически и нравственно, должны подать друг другу руку".

Сбоку приписка: "А Тургенев,-- что бы ни говорили,-- деятель честный и советник полезный, он знает Русь. Ну, да довольно. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня и проч. Дружески жму Вашу руку. М. Авд.

Скажите пожалуйста Тургеневу, что я ему пишу в магазин Кожанчикова".

Точную дату этого письма нам установить не удалось; во всяком случае, более чем вероятно, что оно написано в феврале 1863 г. {Мы относим это письмо Авдееву именно к февралю 1863 г., на основании того, что, судя по началу письма, оно является ответом на письмо Некрасова к Авдееву от 8 февраля 1863 г.}, когда в связи с восьмимесячной приостановкой "Современника" и арестом Чернышевского в литературных кружках ходили слухи о том, что Некрасов готов-де отречься от солидарности в убеждениях со своей "консисторией",-- так якобы он называл редакцию "Современника", большинство членов которой были духовного происхождения (см. об этом отрывок из воспоминаний Елисеева, напечатанный ниже в статье "Некрасов и Елисеев"). Что касается самого содержания письма Авдеева, то оно, рисуя известное благодущие автора, свидетельствует в то же время о непонимании им глубины расхождения; разделившего в эти как раз годы "отцов и детей". Если относить это письмо к февралю 1863 г., как это сделано нами, то непосредственный ответ на него был дан в двойной январско-февральской книжке "Современника", первой, вышедшей после приостановки журнала. Здесь, в статьях Антоновича и в особенности Салтыкова-Щедрина, напр., в статье "Русская литература", "Петербургские театры", "Наша общественная жизнь", на ряду с пламенной защитой "нигилистов" и "мальчишек", содержались и резкие выпады против Тургенева, положившего-де своим романом начало гонению против молодого поколения.

Итак, попытка Авдеева не удалась, пропасть между двумя писателями все росла и ширилась...

VI

Не преследуя в настоящей работе задачи исчерпать весь биографический и историко-литературный материал, характеризующий отношения Тургенева и Некрасова, все же не лишнее будет сказать несколько слов о том, как и в какую сторону эволюционировали взгляды Тургенева на поэзию Некрасова. Отзывы Тургенева о произведениях Некрасова, содержащиеся в письмах его к Некрасову, дают достаточно оснований для вывода, что в период дружбы с Некрасовым Тургенев признавал за его стихами высокие поэтические достоинства.

Вскоре после разрыва с Некрасовым мнение Тургенева о поэтических вдохновениях "Музы мести и печали" изменилось в сторону резко отрицательного к ним отношения. Нигде это отношение не сказалось так явственно, как в письмах к Полонскому конца 60-х и начала 70-х гг. Так, в письме от 13 января 1868 г. Тургенев заявляет: "Г-н Некрасов - поэт с натугой и шуточками; пробовал я на-днях перечесть его собрание стихотворений... нет! Поэзия и не ночевала тут - бросил я в угол это жеванное папье-маше с поливкой из острой водки".

В письме от 29 января 1870 г., совершенно забыв, по-видимому, о содержании своих отзывов о поэзии Некрасова, относящихся к 40-м и 50-м гг., Тургенев говорит: "Я всегда был одного мнения о его сочинениях, и он это знает: даже когда находились в приятельских отношениях, он редко читал мне свои стихи, а когда читал их, то всегда с оговоркой: "я, мол, знаю, что ты их не любишь". Я к ним чувствую нечто вроде положительного отвращения: их *aggrège goût*, -- не знаю, как сказать по-русски, - особенно противен: от них отзывается тинной, как от леща или карпа".

Наконец, в письме от 22 марта 1873 г. Тургенев отозвался о поэме "Княгиня Волконская" как о "противнейшей, слащаво-либеральной".

Приблизительно к этому же времени относится и печатный отзыв Тургенева о поэзии Некрасова, совершенно беспощадный по своему содержанию. В помещенной в "С. - Петербургских Ведомостях" (1870 г., No 8) рецензии на стихотворения Полонского, которого только что выбрали "Отеч. Зап.", Тургенев, не только категорически заявлял о полном отсутствии поэзии "в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях "скорбной" музыки г. Некрасова", но и сделал резкий выпад против личности Некрасова, заметив, что Некрасов "не имеет ничего общего" со "всеми уважаемым и почтенным" А. С. Хомяковым. Любопытно, что Полонский поспешил заверить Некрасова в отсутствии какой бы то ни было солидарности в данном случае между ним и Тургеневым. Он сделал это в особом письме к Некрасову (оно напечатано в нашей статье в "Современнике" 1915 г., No 3: "Поэзия Некрасова в оценке его современников").

Чем же объяснить перемену, происшедшую в 60-х и 70-х гг. во взглядах Тургенева на Некрасова как поэта? Неужели возможно допустить, что решающую роль здесь сыграли личные отношения: покамест Тургенев дружил с Некрасовым, он расхваливал его стихи, а перестал дружить, и стихи Некрасова ему разнравились? Само собой разумеется, что, признав такое упрощенное разъяснение справедливым, мы должны были бы прийти к заключению, что Тургенев был крайне мелочным и пристрастным человеком. Однако возможен и иной взгляд на вопрос. Высокая оценка Тургеневым Некрасова, как поэта, имеет в виду почти исключительно стихотворения, написанные в конце 40-х и в течение первых 6-7 лет 50-х гг. Нельзя сказать, что в это время Некрасов, как поэт, не определился, но, во всяком случае, если и определился, то далеко не всеми сторонами своего поэтического творчества. Не забудем, что из крупных поэм до 1859 г. Некрасовым были написаны только две - "Саша" и "Несчастные". Ни "Коробейников", ни "Мороза-Красного Носа", ни "Медвежьей охоты", ни "Дедушки", ни "Русских женщин", ни "Современников", ни "Кому на Руси жить хорошо" еще не существовало, как ее существовало и таких стихотворений, как "Рыцарь на час", "В полном разгаре", "Орина - мать солдатская", "Неизвестному другу", "Железная дорога" и мн. др. Между тем названные произведения более, чем какие-либо другие, определили собой основной идеологический тон песен "музы мести и

печали". К ним, следовательно, и относятся те глубоко-отрицательные общие суждения Тургенева, которые мы только что приводили.

Чем же руководствовался Тургенев, произнося их да еще облакая в исключаящую всякую условность, совершенно категорическую форму? Не отрицая того, что крайняя враждебность, проявляемая Тургеневым в отношении всего, что так или иначе было связано с личностью Некрасова, не могла не оставить известного следа в его отзывах о поэзии Некрасова, мы все же думаем, что решающее значение здесь сыграло опять-таки не что иное, как органическое восприятие Тургенева, восприятие типичного представителя 40-х гг. Многие в поэзии Некрасова должно было его коробить, многое оставалось ему совершенно чуждым, и отнюдь не потому, что Некрасов был плохой поэт, а потому, что произведения его, в значительном своем большинстве, не затрагивала тех струн, которые получили преимущественное развитие в психике людей 40-х годов. Зато они удивительно гармонировали с настроениями разночинной интеллигенции, - и вот, в то время как Тургенев и Толстой в один голос утверждали, что истинная поэзия совершенно отсутствует в стихах Некрасова, писатели-разночинцы, сначала Белинский, потом Добролюбов и Чернышевский, буквально не находили слов, чтобы выразить свой восторг по адресу Некрасова как поэта (см. об этом ниже в работах "Некрасов и Чернышевский", "Некрасов и Добролюбов"). Если с точки зрения современного исследователя в суждениях разночинцев о Некрасове заключаются несомненные преувеличения, - Чернышевский, например, утверждал, что у Некрасова "больше таланта, чем у Тургенева и Толстого", -- то не менее ошибочным следует признать и огульно-отрицательный взгляд на Некрасова, которого держались Тургенев и Толстой. Поэтическое реноме Некрасова в наше время совершенно восстановлено, и это восстановление явилось результатом не субъективных оценок, а серьезного анализа тех художественных приемов {Анализ поэтики Некрасова читатель найдет в брошюре К. Чуковского "Некрасов как художник" (1922 г.), а также в книге того же автора "Некрасов. Статьи и материалы" (1926 г.), в статье Б. Эйхенбаума "Некрасов" (первоначально напечатана в журнале "Начала" 1922 г., No 2; впоследствии перепечатывалась в книгах того же автора "Сквозь литературу" и "Литература"), в статье Ю. Тынянова "Стихотворные формы Некрасова" ("Летопись дома литераторов". 1921 г. No 4; перепечатана в книге того же автора "Архаисты и новаторы"); в статье Л. Слонимского "Некрасов и Маяковский" ("Книга и революция" 1921 г., No 2), в статье С. Шувалова "К поэтике Некрасова. Сравнения" ("Свиток". 1922 г., No 1); в статье Шимкевича "Пушкин и Некрасов" (в сборнике "Пушкин в мировой литературе") и, наконец, в нашей книге "Некрасов, как человек, журналист и поэт", в главе "Некрасов как художник".}, которыми он пользовался. Не лишнее будет отметить, что и Тургенев с конца 70-х гг., а к этому как раз времени относится некоторая перемена во взглядах его на общественную роль русской радикальной молодежи, -- начинает несколько иными глазами смотреть на поэзию Некрасова. В письме к Стасюлевичу от 16-4 февраля 1878 г. (см. "Стасюлевич и его современники", т. III) Тургенев о своем только что умершем друге-враге говорит следующее: "Сегодня пришел февральский номер "В. Е.". Я немедленно (прочел вашу статейку о Некрасове и нахожу, что определение самой сущности и свойства его таланта - совершенно правдиво и верно: я готов "обеими руками подписаться под вашими строками". Стасюлевич же в своей в общем довольно сдержанной статье писал: "Она (муза Некрасова) будила совесть общества; благодаря таланту поэта, она успевала глубоко проникнуть в душу даже тех, кого (подчас корила... Мы не колеблемся признать его (Н-ва) замечательным художником" и т. д.

Отношение Некрасова к творчеству Тургенева, по-видимому, не претерпело столь резких изменений после того, как дружеские узы, связывавшие обоих писателей, оказались порванными: оно осталось более или менее благоприятным. Вот тому весьма любопытный пример. В 1867 г., вскоре после закрытия "Современника", Некрасов вознамерился издать литературный сборник. В качестве одного из сотрудников он пригласил Д. И. Писарева, причем сговорился с ним, что он напишет для сборника несколько статей, в том числе и статью о только что, появившемся в печати романе Тургенева "Дым". Проходит несколько времени. Некрасов успел уже ознакомиться с содержанием "Дыма" и, под впечатлением этого знакомства, поспешил написать Писареву следующее (в письме от 20 июля 1867 г., впервые оно было опубликовано нами в конце ноября 1916 г. в одной из петербургских газет):

"Многоуважаемый Дмитрий Иванович!

Наши условия о двух статьях для сборника остаются во всей силе. Что касается до третьей (о "Дыме"), то спешу сказать следующее. Я только теперь прочел эту повесть и, находя художественную ее часть безусловно прелестною, думаю, что едва ли мы с вами сойдемся во взглядах на другую ее часть - полемическую, или так сказать политическую. Тронутые в ней вопросы так важны для русского человека и тронуты они так решительно, что обязываться напечатать статью о "Дыме", не зная, в чем будет заключаться ее содержание, -- напечатать в книге, где будет много моих статей и о которой все-таки неизбежно пройдет слух, что я был ее составителем, -- представляется для меня делом рискованным. Итак, если будете писать статью об этой повести, то не имейте в виду помещение ее в сборнике".

Отрывок этот не нуждается в особо пространных комментариях. Ясно, что Некрасов боялся, что Писарев, всего несколько месяцев назад выпущенный из Алексеевского рavelина, где ему пришлось отсидеть пять лучших лет своей жизни по обвинению в составлении противоправительственной статьи-прокламации, не сумеет с достаточной объективностью отнестись к политической идеологии "Дыма". А между тем, так как сборник - не журнал, и, кроме того, в задуманном Некрасовым сборнике имелось в виду помещение нескольких его собственных статей, то ответственность за содержание статьи Писарева о "Дыме", буде она появится в сборнике, полностью упадет на Некрасова. В данном случае у Некрасова было сугубое основание избегать такой ответственности. Дело в том, что на страницах "Дыма" содержался резкий выпад против него лично в словах Потугина о "сочинителе", который "весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп, укорял... да вдруг сам взял да два винных завода купил и (снял сотню кабаков)". Для человека, менее разборчивого в средствах, чем Некрасов, подобное обвинение могло послужить стимулом предпринять энергичную контратаку путем помещения "разносительной" "критической статьи, а большего мастера "разносить", чем Писарев, в то время в рядах русских критиков, конечно, не было. На Некрасова же нападки на него в "Дыме" оказали, повидимому, обратное действие: он получил лишнее побуждение отказаться от помещения уже заказанной Писареву статьи. Здесь нельзя не усмотреть проявления свойственной Некрасову нелюбви к каким бы то ни было выступлениям в защиту своего доброго имени. Нам уже приходилось касаться этой своеобразной черты его психики, говоря об опубликовании Тургеневым в 1869 г. дискредитирующих Некрасова отрывков из писем Белинского. Хотя у Некрасова и был достаточный материал для оправданий, но он им не воспользовался. Мало того, даже письма к Салтыкову с этими оправданиями, за которое принимался четыре раза, он не закончил. Характерно, что и в отношении тех художественных произведений Тургенева, которые по тем или другим причинам не удовлетворяли его или же содержали уколы по его адресу, он применял ту же систему молчания. Его стихотворение по поводу "Отцов и детей" увидело свет лишь через сорок лет после смерти поэта. О "Дыме" же Некрасов не только не высказался сам, но воспрепятствовал, как мы только что видели, высказаться Писареву. То же самое приходится сказать и об отношении его к последнему роману Тургенева "Новь": Некрасов промолчал о нем, хотя весьма и весьма не одобрял его содержания. В дневнике Пыпина (см. "Современник" 1913 г., No 1) под 15 января 1877 г. рассказывается об одной из бесед его с больным Некрасовым: "Он (Некрасов) говорил о романе Тургенева. Первая часть понравилась - выводимые лица нарисованы хорошо; но 2-я часть плоха. Тургенев не достиг своей цели. Если он хотел показать нам, что направление юношей неудовлетворительно, - он не доказал. Если хотел примирить с ними других - не успел; если хотел нарисовать объективную картину - она не удалась. Все-таки люди были крупнее (первые), да и хождение в народ - недосказано, оно было не так глупо. Вообще скажу, не говорите только приятелям Тургенева, я их не хочу огорчать, - паскудный роман, - хотя и до сих пор люблю Тургенева". Удивляться отношению Некрасова к "Нови", разумеется, не приходится, зная, какие чувства любви, восторга, преклонения возбуждало в его душе народническое движение (см. об этом соответствующие главы в нашей книге 1914 г. о Некрасове и нашу же статью "Революционная идея в поэзии Некрасова" в Некрасовском сборнике 1918 г.); тургеневский же взгляд на это движение и его участников был, мягко выражаясь, очень и очень скептический.

VII

Отрицательное суждение о "Нови" не помешало Некрасову в разговоре с Пыпиным сказать, что он продолжает любить Тургенева. Трудно сомневаться в искренности человека умирающего и знающего, что он умирает. Тем не менее есть данные, на основании которых

можно предполагать, что если, с одной стороны, с мыслью о Тургеневе в психике Некрасова было ассоциировано представление о все еще любимом друге молодости, то, с другой стороны, эта же мысль рождала в его душе чрезвычайно болезненное чувство. Главным источником этого чувства являлись на столько тяжелые воспоминания об обстоятельствах их разрыва, не столько горечь от обид, причиненных печатными выступлениями Тургенева против него, как поэта и редактора-издателя "Современника", сколько слухи о том, что от Тургенева исходят обвинения его в крайней денежной нечистоплотности. Несколько болезненно реагировал на них Некрасов, об этом можно судить хотя бы по следующему рассказу Панаевой: "Когда Некрасов узнал, что Тургенев взводит на него подобные обвинения, то у него разлилась желчь; он три дня не выходил из дома, никого не принимал и ничего не мог есть и находился в таком возбужденном состоянии, что до изнеможения ходил по кабинету из угла в угол.

Желая успокоить Некрасова, я советовала ему брать пример с покойного Добролюбова или Чернышевского, которые относились к распространяемым о них клеветам с полнейшим презрением.

- Между ними и нами огромная разница,-- отвечал Некрасов. - Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголки, а под нашу можно бревна подложить. Они в своих нравственных принципах тверды как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя. Всем известно что я имею слабость к картам, вот и может показаться правдоподобным, что я проигрываю чужие деньги... Лучше бы он из-за угла убил меня, чем распространять про меня такую позорную небывальщину.

Некрасов весь дрожал, стиснул губы, как бы боясь, чтобы у него не вырвалось стоны, и быстро, порывисто зашагал по комнате".

Для характеристики взаимоотношений Тургенева и Некрасова представляется весьма важным разъяснить, в чем именно Тургенев обвинял Некрасова и какие имел основания для своих обвинений. Обвинение, которое имеет в виду Панаева в приведенном рассказе, - о нем же содержится упоминание и у Н. Успенского (см. его книгу "Из прошлого", М., 1889 г.),-- состояло в том, что Некрасов во время своего пребывания за границей, получив от Тургенева для передачи Герцену 18 тысяч франков, проиграл их в карты, скрыл этот проигрыш от Тургенева, а затем отказался свернуть ему деньги, так как Тургенев не взял с него никакой расписки. Изложенное представляет классический образец тех клеветнических измышлений, которые, увы! в большом количестве распространялись о Некрасове. Опровергнуть это измышление не составляет никакого труда. Отсылая интересующихся к соответствующим страницам воспоминаний Панаевой, (стр. 426--430), ограничимся с своей стороны лишь одним указанием. В 1856--57 гг., когда Некрасов жил за границей, Герцен относился к нему настолько враждебно, что, несмотря на просьбу Тургенева, не согласился даже принять его у себя. Тургенев в это время проживал в Лондоне, куда приехал раньше Некрасова, и находился в самом непосредственном личном контакте с Герценом. Зная все это, невозможно допустить, чтобы Тургенев, вместо того чтобы лично передать деньги Герцену, - а это для него не составляло бы никакого труда, - поручил их передать Некрасову, лишенному возможности даже сидеть с Герценом. Мы не сомневаемся, что Тургенев, как он ни был озлоблен против Некрасова, не мог предъявлять к нему обвинений, подобных данному. Вернее всего, что Н. Успенскому, воспоминания которого являются первоисточником этого обвинения, якобы исходившего от Тургенева, просто изменила память, а может быть он сознательно искажал истину. Доказано, что в воспоминаниях Успенского содержится немало явных измышлений не только о Некрасове, но и о других современных ему писателях {Так, напр., о Толстом рассказывается, что он бил учеников в своей школе (стр. 35--36).}.

Зато едва ли возможно сомневаться в том, что именно Тургенев винил Некрасова в другом очень нечистоплотном деянии - в (присвоении огаревских денег, т. е. тех денег, которые были получены от продажи имения Огарева, по иску его жены Марьи Львовны, и оказались в руках доверенной Марьи Львовны - А. "Я. Панаевой. 12 (июня) 1870 г. Екатерина Павловна Елисеева, жена соредатора Некрасова по "Современнику" и "Отечественным Запискам", в письме из-за границы, адресованном Е. А. Маркович (Марко-Вовчок), между прочим Писала (цитируемое ниже письмо еще не появлялось в печати): "Кстати о Некрасове. Хотя вы знаете, что я только поклонница его поэтического таланта, а как на человека я смотрю на него как на

дюжинного, и некоторые стороны, вы знаете, меня даже отталкивают от него, но все-таки едва ли кому-нибудь приходилось так часто вести борьбу из-за него, как мне. Я терпеть не могу уклоняться (что, разумеется, было бы благоразумнее), когда задевают людей, по-моему, несправедливо. Представьте себе, что я здесь слышу, что одной из главных причин поездки Тургенева в Петербург есть напечатать письмо Некрасова к покойному Герцену относительно Огарева и еще кое-что, обличающее Некрасова и, так сказать, уничтожающее его, и что, дескать, Тургенева умоляли в Петербурге пощадить Некрасова, и он был так велик, что сжалился над русской литературой и обещал помиловать Некрасова {Характерно, что Тургенев, грозивший Некрасову разоблачениями по огаревскому делу, уже в 1860 г. знал, что дело это закончилось примирением сторон, в результате которого Панаева и Шаншиев (ее доверенный по ведению дела) дали обязательство уплатить Огареву 50 (тыс. руб. (см. письмо Н. Обручева к Добролюбову от 7 дек. 1860 г. - Герцен. "Полное собр. сочин.", т. X, стр. 478). В нашем распоряжении имеются документы (в свое время они будут опубликованы), свидетельствующие о том, что Некрасов, желая помочь своей подруге, взял на себя уплату этих 50 тыс. Огарев, таким образом, в конце концов, получил то, что ему надлежало получить. Отсюда вывод: какой смысл имело грозить разоблачениями в деле, уже совершенно ликвидированном?..}. На это я сказала, что готова повторить и самому г. Тургеневу, что он врет, что никаких писем, которых бы Некрасов не мог опровергнуть, когда бы дело пошло гласным (путем, он не имеет. В этом я Некрасову верю, Некрасов очень умен для того, чтобы не понять, что в таких вещах истина не только честнее, но и выгоднее. Во-вторых, положим, что Тургенев имеет что-нибудь губительное для Некрасова: на мой взгляд, хороший человек не будет так поступать даже и не в видах русской литературы, подобные вещи или ставятся *открыто*, для их никто *не знает*; а то ставит себя на пьедестал охранителя русской литературы насчет другого и таким образом, что обвиняемый не имеет никакой возможности защититься, что было бы подчас необходимо, так как податливых голов много. Мне кажется (если это правда), что г-н Тургенев не рассчитал, что есть люди, для которых подобный образ действий кажется, по малой (мере, глупым, кто бы не оказать чего хуже".

Комментируя данное письмо, следовало бы изложить сущность пресловутого огаревского дела и выяснить степень и характер участия в нем Некрасова. Мы лишены возможности это сделать, во-первых, (потому, что это потребовало бы очень много места и времени, во-вторых, потому, что далеко не все материалы, относящиеся к огаревскому делу, найдены, изучены и опубликованы {К этому делу относится целый ряд воспоминаний различных лиц, но они так противоречат друг другу, что основываться только на них было бы очень рискованно. Совсем недавно в No 10 "Нового Мира" 1929 г. Як. Черняк попытался осветить огаревское дело по найденным им неопубликованным данным. Однако материалы, имеющие решающее значение (они, надо думать, находятся в деле 2 департамента московского надворного суда), остались и ему, повидимому, неизвестными. К тому же автор статьи не проявил необходимой в освещении этого вопроса осторожности и охарактеризовал роль Некрасова очень односторонне}, а потому ограничимся лишь указанием на те факты, которые устанавливают, что Тургенев был одним из немногих, находившихся в курсе этого дела. Недаром Некрасов писал ему в 1857 г. из Парижа в Лондон (см. Пыпин, стр. 170): "*Ты лучше других можешь знать, что я тут (т. е. в огаревском деле) столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния, то прежде надо бы знать, имел ли я его - особенно тогда, когда это дело разрешалось*"... Более того, желая лично объясниться с Герценом, считавшим, это он играл в этом деле очень неблагоприятную роль, Некрасов в том же письме обратился к Тургеневу со следующей просьбой: "*Скажи ему (т. е. Герцену)... если он на десять минут обещает зайти ко мне в гостиницу, то я ни минуты не колеблясь приеду к 11 числу*". Таким образом, Некрасов был совершенно убежден, что десятиминутного разговора с Герценом ему будет совершенно достаточно, чтобы вполне удовлетворительно разъяснить свое поведение "и примириться с Герценом. Исполнил ли Тургенев просьбу Некрасова - мы не знаем. Несомненно одно - что Некрасов, с ведома, может быть и по совету Тургенева, приехал в Лондон, чтобы повидаться с Герценом. Есть совершенно определенные указания на то (например, в "Воспоминаниях" Н. А. Огаревой-Гучковой, М. 1903 г., стр. 311--312), что Тургенев проявил значительную настойчивость, убеждая Герцена принять Некрасова. Ему не было никакого смысла действовать таким образом, если бы он не был уверен в том, что свидание Герцена с Некрасовым приведет их примирению, а он мог быть в этом уверен только в том случае, если; в достаточной мере был осведомлен об обстоятельствах дела. Согласившись на роль посредника между Некрасовым и Герценом, Тургенев уже после того, как Некрасов уехал из

Лондона, не добившись свидания с Герценом, передал ему требование Герцена погасить старый, относящийся еще к 1846 году долг ему в 3 500 франков. Некрасов в письме от 27 июня 1857 г. ("Письма Кавелина и Тургенева к Герцену" под ред. Драгоманова, Женева, 1892 г... стр. 111--112) напомнил Герцену, что еще в 1850 г. он, Герцен, переслал ему из-за границы записку, которою уплату долга в 3 500 франков переводил с себя на Тургенева. Записка эта дала (Некрасову достаточные основания считать, что он должен теперь уже не Герцену, а Тургеневу; к уплатой же последнему он мог не торопиться, так как с ним у него были постоянные денежные счета, причем в итоге не Некрасов был должен Тургеневу, а Тургенев состоял Должником Некрасова. Герцену пришлось сознаться (см. его письмо к Некрасову от 10 июля 1857 г.), что о данной им записке он *"совсем забыл"*, иными словами, что претензия, предъявленная им Некрасову, который к тому же поспешил переслать ему деньги, оказалась совершенно неосновательной. С тем большей энергией он настаивал на втором своем обвинении, формулируя его следующим образом: "причина, почему я отказал себе в удовольствии вас видеть - *единственно* участие ваше в известном деле о "требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть переведены и потом, вероятно, по забывчивости, не были пересланы, не были даже возвращены Огареву".

Почти одновременно с письмом Некрасову Герцен написал и Тургеневу (от 20 июля 1857 г.). (Явно искажая смысл того, что писал ему Некрасов по поводу долга в 3 500 франков, он заявлял здесь Тургеневу: "Некрасов обвиняет тебя в том, что ты не объяснил мне, что считал дело это (о 3 500 фр.) конченным со мною и что ты мне их отдашь из своего долга Некрасову; я совсем забыл о записке, которую тебе дал. Вот тебе, впрочем, вполне заслуженная награда за дружбу с негодяями" {Некрасов на самом деле писал Герцену следующее: "Тургенев передал ему расписку, данную мною вам в 1846 году, и я увидел, что дело это, которое я считал конченным *относительно вас*, не кончено и, быть может, служит одною из причин неудовольствия вашего против меня. Вот мое объяснение. Я не делал с вами своевременного расчета частью по затруднению сношений с вами, а главное - по беспечности, в которой признаю себя виноватым перед вами". Как видит читатель из этого отрывка, Некрасов не только не обвинял Тургенева, но и взял всю вину на себя. В письме этом также не содержится ни слова о том, что Герцену отдаст деньги Тургенев из своего долга Некрасову.}

Некрасову очень нетрудно было разъяснить Тургеневу, что Герцен переиначил смысл его письма в части, касающейся Тургенева, и он с таким успехом выполнил это (см. у Пыпина его письмо к Тургеневу от 20 июля 1857 г.), что Тургенев в ответном письме из Куртавнеля (от 24 августа) успокаивал {взволнованного Некрасова прямо-таки в трогательных выражениях: "Я никогда не думал тебя подозревать, а приписал все это недоразумению (которое признаться меня несколько взволновало) и твоей небрежности. Уверяю тебя, что эта, как ты - говоришь, *история* не произвела на меня никакого действия, я так же люблю "тебя, как любил прежде - стало быть думать об этом больше не стоит... *Не сомневайся во мне, как я в тебе не сомневаюсь*"... Эти слова, как видит читатель, свидетельствуют о том, что в разгар тягостнейшего конфликта Некрасова с Герценом из-за огаревского дела Тургенев, хорошо осведомленный в обстоятельствах этого дела, заверял Некрасова в любви, доверии и полнейшем уважении с своей стороны.

Нет надобности доказывать, что в вопросе о долге в 3 500 фр. и вызванной им переписке Некрасов был безусловно прав, а Герцен не менее безусловно неправ. Об этом с достаточной ясностью говорят и письма Герцена и письма Некрасова к. этому (последнему (см. у Пыпина письмо, приложенное к письму к Тургеневу от 20 июля с обращением "М. Г. Александр Иванович" и письмо от 26 июля с обращением "М. Г." {При опубликовании этого письма в "Русской Мысли" адресатом его ошибочно назван был Огарев.}, "Русская Мысль" 1902 г., No 1).

По главному же пункту герценовских обвинений, по вопросу о роли Некрасова в огаревском деле, Некрасов, не добившись личного свидания с Герценом, решил вовсе не отвечать Герцену. Вот знаменательные слова его из последнего (от 26 июля) письма к Герцену): "*что же касается до причины вашего недовольства против меня, то могу ли, нет ли оправдаться в этом деле - перед вами оправдываться я не считаю удобным. Думайте, что Вам угодно*".

Итак, в июне 1857 года Некрасов добивался десятиминутного разговора с Герценом, будучи убежден, что этого разговора будет достаточно, чтобы объяснить и оправдаться до конца, а в июле он категорически отказывается оправдываться. Чем можно объяснить столь резкую перемену в его образе действий? Возможно, прежде всего, предположить, что Некрасов чувствовал себя глубоко оскорбленным тем, что Герцен не принял его, и считал, что дальнейшие объяснения между ним и Герценом будут для него унижительны. Однако главный мотив, определивший поведение Некрасова, был, думается, иным. Некрасов не хотел давать в руки столь враждебно относящегося к нему человека, как Герцен, документ, устанавливающий виновность в огаревском деле третьего лица. Читатель заметил, что в цитированном выше письме Некрасова к Тургеневу 1857 г. (см. Пыпин, стр. 170), наряду с утверждением, что он, Некрасов, "тут столько же виноват и причастен, сколько Тургенев, например", хотя и содержался намек на виновность третьего лица, но намек этот был сильно завуалирован, в частности Некрасов не назвал того имени, которое имел в виду.

Это обстоятельство нельзя не признать чрезвычайно характерным: даже в письме к своему ближайшему другу Некрасов избегает ставить точку над "и", т. е. не называет имени... Тургенев, конечно, знал и со слов самого Некрасова и со слов других, так или иначе прикосновенных к огаревскому делу, что Некрасов имел в данном случае в виду не кого иного, как свою подругу - А. Я. Панаеву {В сохранившемся в архиве III отделения перлюстрированном отрывке из письма Некрасова к Панаевой по огаревскому делу он совершенно определенно говорит об ее виновности.

"Довольно того, - читаем мы здесь, - что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя, и конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким-то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: "каким же именно?" - я не сумел бы ответить по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих наизнанку и не выдам тебя. Твоя честь была для меня дороже своей, и так будет не взирая на настоящее. С этим клеймом я умру... А чем ты платишь мне за такую, - знаю сам, - страшную жертву?"

В литературе о Некрасове высказаны различные оценки этого письма. М. Лемке видит в нем проявление рыцарственной готовности Некрасова заградить собою любимую женщину (т. VII "Сочинений" Герцена). Чуковский держится совершенно иного взгляда (см. его брошюру "Жена поэта"). Во всяком случае, приведенные строки являются очень важным материалом для осведомления огаревского дела. Не этим ли объясняется, что как раз в это время Тургенев отзывался о ней с особой враждебностью, рисуя ее злым гением Некрасова? Так в письме его к Анненкову от 27 июня 1857 г. ("Наша Старина", 1916 г., No 1) говорится, между прочим, следующее: "Я из Англии вместе с Некрасовым вернулся в Париж, а оттуда проводил его и г-жу Панаеву до Берлина: он возвращается в Россию - и, вероятно, теперь уже в Петербурге. Он очень несчастный человек: он все еще влюблен в эту грубую и гадкую бабу - и она непременно сведет его с ума".

Повторяем, мы далеки от мысли разьяснять сущность огаревского дела и степень замешанности в нем Некрасова. Для нас важно было доказать одно, - и, думается, мы это доказали, - что Тургенев, будучи в достаточной (мере знакам с этим злосчастным делом, считал возможным в момент наибольшего его обострения не только продолжать дружеские отношения с Некрасовым, но и заверять его в своих безусловных доверии и уважении ("не сомневайся во мне, как я в тебе не сомневаюсь").

Но вот проходит несколько лет, и положение резко меняется. В 1857 г., когда Герцен, в пылу раздражения, грозился, что свое письмо к Некрасову по огаревскому делу напечатает в "Колоколе" (см. письмо его к Тургеневу от 20 июля 1857 г.), Тургенев восстал против этого намерения, утверждая, что это значило бы "бить то своим". В 1860 году (см. письмо Тургенева к Герцену ют 24 октября 1860 г.) он горячо благодарит Герцена за печатное обличение Некрасова та (страницах того же "Колокола", имея в виду известную тираду из статьи "Лишние люди и желчевики" о литературном ruffiano {Т. е. своднике.}, этом "барышнике, отдающем в рост свои слезы о народном страдании", этом "промышленнике, делающем из сочувствия к пролетарию оброчную статью", этом "гонителе неправды, сзывающем позор и проклятия на современный срам и запустение и в то же время запирающем в свою шкатулку деньги, явно

наворованные у друзей своих". Так как последние слова обрисовывали роль Некрасова в огаревском деле, как юна представлялась Герцену, то одобрение Тургенева значило в данном случае, что он целиком и полностью воспринял точку зрения Герцена на этот вопрос.

Приведенный выше отрывок из письма Елисейевой к Маркович убеждает, что и в 1870 г., гг. е. через десять лет после цитированной статьи Герцена, Тургенев склонен был подобным же образом оценивать поведение Некрасова в огаревском деле.

VIII

Конфликт с Герценом и его друзьями из-за огаревского дела очень болезненно переживался Некрасовым. Достаточно сослаться хотя бы на следующие слова его из письма к Панаевой: "Презрения Огарева, Герцена, Анненкова, Сатина не смыть всю жизнь, оно висит надо мной"... Еще тяжелее, разумеется, давалось Некрасову сознание, что и его ближайший друг присоединился к этим презирающим его людям и не только готов аплодировать враждебным выпадам против него, но и сам не стесняется распространять позорящие его слухи. Вот почему мысль о Тургеневе рождала в душе Некрасова, как было сказано, чрезвычайно болезненное чувство. Не только беседа, но и простая встреча с Тургеневым должны были при таких условиях не только взволновать, а прямо-таки потрясти Некрасова, причем вынести подобное потрясение он не всегда чувствовал себя в силах. Эти соображения не лишнее будет иметь в виду при разъяснении обстоятельств, сопровождающих "последнее свидание" Тургенева с Некрасовым. Так именно назвал Тургенев свое общеизвестное стихотворение в прозе, в котором изобразил свою последнюю встречу с Некрасовым {Из письма Пыпина к Стасюлевичу от 23 мая 1877 г. ("Современный Мир" 1911 г., No 11) мы знаем, что это свидание произошло в 20-х числах мая 1877 г. Некоторые выражения письма позволяют утверждать, что Пыпин сознательно стремился к тому, чтобы свидание состоялось, иными словами к тому, чтобы Некрасов и Тургенев примирились. Из (письма Тургенева к Ю. Вревской от 30 января 1877 г. (Щукинский сборник, выпуск 5-й) явствует, что Тургенев определенным образом хотел примириться с Некрасовым и если не написал ему об этом, то только из боязни, что Некрасову его письмо может показаться ^предсмертным вестником". Здесь же Тургенев признает, что вопрос о том, кто из них - он или Некрасов - является виновником ссоры - далеко не ясный вопрос... В воспоминаниях Р. Антропова ("Звезда", 1902 г., No 4) есть определенные указания на то, что и Некрасов, "не перестававший любить Тургенева высокой и пламенной любовью", говорил окружающим о своем желании примириться с Тургеневым. Сопоставляя эти свидетельства, нельзя не прийти к заключению, что "последнее свидание" Тургенева с Некрасовым явилось результатом если не обоюдной инициативы, то, во всяком случае, обоюдного желания Тургенева и Некрасова.}. Читатель не посетует и на нас, если мы приведем это проникновенное и высоко-художественное творение тургеневского таланта:

"Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... но настал недобрый час - и мы расстались как враги.

Прошло много лет... И вот заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен - и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! Что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... он не мог сносить давления самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглодавшую руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов - привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась - и на съезженные зрачки загоревшихся глаз окатились две крупные страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него - и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, так-же протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что менаду нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила..."

Как отнести к этому рассказу? Является ли он точной передачей действительного факта, или же только художественным откликом на "известное реальное впечатление? Какие элементы в нем преобладают - элементы *Dichtung* или *Wahrheit*? Мы склоняемся к мнению, что "Последнее свидание" следует рассматривать именно как стихотворение в прозе. Оно чрезвычайно показательное, быть может, для характеристики того настроения, которое испытал Тургенев, посетив Некрасова накануне его смерти, но видеть в нем точное воспроизведение того, что было в действительности, мы ни в коем случае не решились бы. Не решились бы как потому, что сильная струя *Dichtung* вообще свойственна стихотворениям в прозе Тургенева, так и потому, что нам довелось услышать и совершенно иной рассказ о "последнем свидании" двух писателей из уст едва ли не единственной очевидицы его. Мы говорим о жене Некрасова - Зинаиде Николаевне. Летом 1914 г. автор этих строк посетил Зинаиду Николаевну в Саратове. Ему сдалось вызвать ее на разговор о прошлом, и она сообщила немало цельных для биографии Некрасова сведений (см. нашу статью "Зин. Ник. Некрасова" в "Жизни для всех" 1915 г., No 2). Между прочим, Зинаида Николаевна затронула и вопрос об отношениях Некрасова и Тургенева. Рассказав о том, как огорчала Некрасова враждебность Тургенева, она коснулась причин, вызвавших разрыв между ними. По ее словам, Тургенев не мог простить Некрасову совета воздержаться от напечатания романа "Отцы и дети", который дал ему прочесть в рукописи, и это-де и повело к прекращению их дружеских отношений. Само собой разумеется, эта часть воспоминаний Зин. Ник. не производит впечатления достоверности. Зинаида Николаевна о конфликте Некрасова с Тургеневым могла знать только понаслышке, так как ее знакомство с Некрасовым относится к началу 1870 года, к периоду "Отечественных Записок", а не "Современника". Естественно, что слышанное 35 лет тому назад, к тому же, быть может, плохо понятое,-- Зин. Николаевна в молодости была мало интеллигентна,-- " впоследствии, независимо от воли рассказчицы, приняло довольно-таки фантастический характер. Ветринский совершенно прав, доказывая, что Некрасов даже не мог читать в рукописи "Отцов и детей" {Жаль только, что почтенный исследователь, не дав себе труда вчитаться в нашу статью в "Жизни для всех", совершенно произвольно навязывает нам никогда и нигде не высказанную нами "полную веру" в то, что так дело действительно могло быть, как о том передала Некрасова.}, (см. его заметку "Тургенев и Некрасов" в историко-литературном сборнике "Огни"). Зато мы никоим образом не можем согласиться с Ветринским в категорическом отрицании им всякой достоверности за рассказом Зин. Ник. о "последнем свидании" Некрасова и Тургенева. Рассказ этот, записанный нами с возможною точностью непосредственно после того, как он был выслушан, таков:

"Узнал Тургенев от близких знакомых, что муж неизлечимо болен, и пожелал к нему приехать, чтобы помириться. Но нельзя было допустить его к Ник. Ал-чу, не подготовив,-- слишком уж он слаб и немощен был. Я сама взялась за это дело. Тургенев уже сидел у нас в передней, а я говорю Ник. Ал-чу: "Тургенев желал бы тебя повидать". - "Пусть придет, полюбуется, каков я стал",-- с горькой усмешкой отвечал муж. Тут я надела на него халатик и перевела из спальни в столовую,-- сам уж он не мог ходить. Сел он у стола, высасывает сок из бефштекса,-- ничего твердого ему не давали тогда. Смотреть на него страшно, такой он бледный, худой, изнеможенный... Я взглянула в окно, сделала вид, будто увидела Тургенева, я говорю: "А вот и Тургенев приехал". Через несколько времени Тургенев с цилиндром в руках, бодрый, высокий, представительный, появився в дверях столовой, которая прибегала у нас к передней. Взглянул на Николая Ал-ча,-- и застыл, пораженный его видом. А у мужа по лицу страдальческая судорога прошла: видимо, неумоготу ему было бороться с приступом невыразимого душевного волнения... поднял он тощую исхудалую руку, махнул в сторону Тургенева, как бы хотел сказать, что не в силах с ним говорить... Тургенев, лицо которого было также искажено от волнения, молча благословил мужа и исчез в дверях. Ни слова не было

оказано во время этого свидания, а сколько перечувствовали оба". Автор настоящих строк позволил себе спросить Зин. Николаевну, поняла ли она жест Некрасова рукой, как указание на физическую невозможность или же как указание на нежелание говорить с Тургеневым. Она, после долгого размышления, ответила: "Попрощался таким образом муж с Тургеневым, как бы сказал этим жестом: не могу, не выдержу беседы с тобой; оставь меня". На второй наш вопрос Зин. Николаевне, можно ли в этом жесте видеть нечто примирительное, Зин. Ник. затруднилась ответить.

Ветринский противопоставляет этому "искаженному" рассказу "подлинный рассказ самого Тургенева", т. е. стихотворение в прозе "Последнее свидание". Почему его надо считать "подлинным рассказом", об этом исследователь не сумел сказать ни слова. Мы отнюдь не настаиваем на том, что в рассказе Зин. Ник. нет никаких искажений, но, во всяком случае, этот рассказ, воспроизводящий то, что она видела собственными глазами, не производит впечатления измышленного, и считается с ним всякий, интересующийся отношениями Некрасова и Тургенева, безусловно должен. Вывод же, который приходится из него сделать, несколько подрывает общераспространенное мнение о том, что Некрасов и Тургенев вполне примирились во время своего "последнего свидания". Это мнение всецело основывается на стихотворении в прозе Тургенева, однако, и в нем есть фраза, которая может быть истолковываема, как косвенное указание на то, что, несмотря на рукопожатие, полного примирения все же не состоялась. Мы имеем в виду фразу о нескольких "невнятных словах", которые прошептал Некрасов и в которых заключался не то привет, не то упрек - этого Тургенев не разобрал. Ну, а если заключался упрек, то можно ли тогда говорить о полном примирении?..

Мы рассмотрели историю отношений Некрасова и Тургенева и высказали ряд соображений об общественно-психологических причинах той распри, которая разъединяла их в последние десятилетия их жизни. Работа наша разрослась, и это лишило нас возможности заняться вопросом о влиянии их друг на друга как писателей, а между тем общие мотивы в их творчестве бросаются в глаза. Тематика "Саши" настолько близка к "тематике" Рудина, а в обрисовке славных героев столько общих черт, что не так давно пользовалось широким распространением мнение, что некрасовская "Саша" не более как переложенный в стихи "Рудин". Ошибочность подобной точки зрения очевидна: доказано, что Некрасов написал "Сашу" ранее, чем Тургенев - "Рудина". Тем не менее сопоставление этих двух произведений и в плане идеологическом и в плане композиционном; представило бы значительный интерес и, весьма возможно, натолкнуло бы на ряд не лишенных значения социологических выводов. Напрашиваются на сопоставление также стихотворение Некрасова "Так, служба", которое навлекло на поэта столько обвинений в "клевете на народ", и рассказ Тургенева о том, как орловские крестьяне, топили француза Леженя ("Однодворец Овсянников"), Мы позволили себе привести эти беглые примеры только для того, чтоб с их помощью привлечь внимание читателей к поставленной выше теме об общих мотивах в творчестве Тургенева и Некрасова. Тема эта, повторяем, нуждается в разработке {Вышедшая в 1908 году книга И. Смирнова "Заступники народные" хотя и трактует о творчестве Тургенева и Некрасова, однако, ограничивается лишь пересказами их произведений, цитатами из них и отнюдь не затрагивает "вопроса, доставленного нами."}.